

Чудотворная

1

Каждый год, в то время когда полая вода идет на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, кусищи земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.

Год за годом Пелеговка упрямо въедается в дуг, раскинувшийся под селом Гумнищи.

В такие дни в неустоявшейся воде, случается, хватают на вышолзней подъязки. Соскучившиеся за зиму по реке гумнищинские ребятишки высыпают на берег. Хорош клевет или плох, они все, как один, терпеливо до сумерек торчат над удочками.

Родька Гуляев выбрал место перед крохотной заводью, подсунул под себя доску, чтобы сквозь штаны не холодила мокрая земля, и вот уже который час следил за поплавком. Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Сонно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадежно мертв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина с киснущей щетинистой дерновиной казалась безжизненной.

Родька поднялся на затекшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам — не перебраться ли в другое место? — и тут заметил, что в обрыве берега из плотного песка торчит темный угол какого-то ящика. Родька подошел, пощупал его — кусок гнилой доски остался в руке.

«Хоронили что-то в землю... Река открыла... — Родькино сердце разом упало. — А вдруг клад!»

Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо отканывать.

Ковырялся он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскатать и выдернуть из песка находку. Положив ее к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжел, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки,— такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не расползалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.

Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина.

«Ишь прятали. Мешковина и та просмолена... Дорогая штука, должно...»

От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подергивало косточки в коленках.

Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул... широкую, тяжелую доску.

Большая, темная, словно законченная доска, и больше ничего!

Родька с разочарованием и недоумением ее разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На прокопченно-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован.

Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но темные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчетливее. По-прежнему не столько сами черные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.

Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая бородка соединялись длинным, прямым, как тележный квач, носом. Разглядел Родька все лицо — вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами от поздрей, разглядел полукружные над головой и понял: он просто-напросто нашел икону.

Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.

Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.

2

Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.

Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки — бабка бралась за топор, кляня непутевого муженька своей дочери, и, призывая господ бога, святую деву богородицу, обтесывала новый столб. Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалуящуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — расплзется дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская как доска; лицо тоже широкое, угловатое с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости черевитых коричневых морщин и морщинок беспокойно и цепко глядят желтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожищами по пахоте, покрикивает на лошадь:

— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!

Мать Родьки, повязав платок так низко, что он почти закрывал глаза — жалела лицо, прятала от солнца, — собирала с распаренной, улежавшейся за зиму пахоты прошлогодние картофельные плети, сваливала их в разложенный костерчик. Сопревшие под снегом, не совсем еще высохшие плети горели плохо, по усадьбе тянулся сизый вонючий дым.

К Родькиной матери от старой Грачихи перешло скуластое лицо да зеленый прищур глаз сквозь белесые ресницы, но и скулы уже не так круто выпирали и лицо без угловатостей, кругло, со сдобной подушечкой под мелким подбородком; даже намек нет на бабкину худобу: плечи пухлы и покаты, старенькая, выцветшая юбка трещит на бедрах. Куда больше от бабки перепало внуку. Пусть хрупкие плечи, но даже сейчас под стареньким ватником чувствуется их разворот, лобастая крупная голова лежит

на них почти без шеи, цевки рук тонки, зато ладони широкие, плоские, короткопалые. Теперь вот обхватил ими широкую доску, расставив ноги в разбитых сапогах, голова склонена лбом вперед, на нижней губе болячка (застудил, на реке пропадая) — сбитенок, с годами выключается из такого Грач под стать старой Грачихе.

— Набегался, безотцовщина? — Бабка остановила лошадь, стала очищать лемех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды. — Варька, иди картошки свинье патолки. Пуцай гулявый будылье таскает.

— А я икону нашел. — похвастался Родька.

— Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти пороли.

Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, легонько толкнула Родьку в плечо:

— Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не дает из-за тебя... Иди, иди, тут мы управимся.

— Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.

Родька положил на землю икону. Мать замолчала, взгляделась, сурово спросила:

— Где нашел?

— Говорят, в берегу выкопал. В ящичке заколочена была.

— Иди-ка сюда, мать.

Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.

— Вечно проказы. Иисусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу...

Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки средь дубленых морщинок остановились.

Икона лежала на земле, оплетенной прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в легонькие, размазанные по синему небу облачка.

Тяжелая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крестное знамение.

— Свят, свят... Иисусе Христе праведный... Варенька; голубушка, взгляни-ко, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты...

— Она, пропащая, — подтвердила серьезно и мать.

— Типун тебе на язык — «пропащая». Не пропащая, девонька, а новаявленная.

Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок ее совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.

Родька подозрительно, исподлобья проводил ее взглядом: что-то бабка серьезно схватилась за икону, даже работу бросила, начнет потом зудеть, что, да как, да где нашел, скажешь не по ней — по затылку схватишь.

— Мамка, — проговорил он, — я к Ваське пойду уроки делать.

Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрявилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.

3

Вечером дома ждали Родьку.

Еще с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетей, согнутая пополам старая Жеребиха. Срежь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмешь в обхват, Агния Ручкина. У нее пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На ее сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:

— Ноженьки мои, ноженьки!..

У самых дверей, с краешка, на лавке, уместился робкий старичишка — ночной сторож Степа Казачок: спеченный рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заерзал на лавке.

Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причесаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.

Икона, принесенная Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зернышки, огонька-

ми несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.

— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь черными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами. — Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.

А Родька-ангел, прoderнув рукавом по мокрому носу, от непонятого внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение, — протиснулся бочком к печке.

— Избранник божий, надежда наша, — раскисла в улыбке Агния Ручкина. — Ох, ноженьки мои, ноженьки...

— Счастье тебе, Варварушка... Сынок-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать. — Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадет... Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.

Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.

— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу, — сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай.

Помявшись, еще ниже наклонив голову, Родька подошел.

— Ну чего?

— Скажи еще раз, милушко, где ты ее достал?

— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута иди, то вправо.

Внимательно притихшие старухи разом завздохали:

— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная...

— Сам господь, должно, перстом указал... Ноженьки мои, ноженьки... Ох, согрешение!

— Да как же ты на нее наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.

— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал... А там — эта...

— Церковь-то наша без нее сирая и неприкаянная.

— Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, каждую ночь купол пилит ктой-то. Каждую ночь перед петухами...

— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.

Родька со страхом и недоумением слушал всыхнувший разговор, оглядывался. А в темном углу избы, скупо освещенном крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на черной доске белели глазные яблоки.

4

Ушли гости. За темным окном в последний раз донеслось плачуще:

— Ноженьки мои, ноженьки...

Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю темную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.

Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и крихтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп...

Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубаше, распустив по спине волосы, опустила голыми коленями на холодный пол, завороченно устала на неподвижный огонек лампадки.

Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черемухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.

Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бесвязно шептать:

— Господи милостивый... Никола-угодник... В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня...

Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»

И так уже много лет.

Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в черта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:

— Будет ныть-то! Отошла ныне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится...

Самой большой тревогой в ту пору было — придет или не придет Степан на обрыв, к обвалившейся березе. Шла

война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза темные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани...» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок, но и она, Варвара, была не из последних — не конопата, не кривобок; бывало, прислонится Степан к высокой груди — замрет, как ребенок. Страшная вера охватывала тогда — никакая сила не оторвет его. «Распрямись ты, рожь высокая...» За весь месяц, пока Степан Гуляев жил в отпуске, не пропустили ни одной ночи. Ничего тогда не боялась Варвара, ни у кого не собиралась просить помощи, помнить не помнила бога...

Но вот кончился срок, проводила Степана. Без стеснения, как жена, перед всем селом висела на шее, плакала в голос: «На ко-ого-о ты меня-а покида-аешь!»

Проводила, тут-то и стала задумываться: вернется ли, на фронт ведь уехал, ребенок будет, старая мать — по дому только помощница, вдруг да придется куковать соломенной вдовой? Вернуть бы! Если б можно, на четвереньках через леса, реки, города поползла к нему. Как помочь?! Чем?! Сиди обливайся холодным потом при мысли, что все быстро так кончилось... Кончилось?! Нет, нельзя этого допустить! Что-то надо делать!.. Старая Грачиха видела все, не переставая твердила:

— Хватит казнить. Сохнешь да кровь портишь без толку. Молись лучше. Молись! Забыла господа-то. Гордыня заела. За свою гордыню такие ли муки мученические терпеть будешь!

Что-то надо делать Варваре. Страхи одолевают. Может, и в самом деле права мать: никакой другой помощи не придумаешь. Тогда-то впервые Варвара стала вечерами непослушными от волнений и тревоги губами молить шепотом: «Помоги, господи!»

Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабьи ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распрямись ты, рожь...»

Нануганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не усцокаивался, раздраженно ворчал:

— Скука здесь. Того и гляди, шерстью обрастешь.

Потом неожиданно сорвался, укатил в город, поступил на мебельную фабрику, пообещав, что, как только устроится, вызовет к себе Варвару с Родькой.

Кто знает, как бы повернулась жизнь, если б Степан прочно остался дома. Была бы семья, как у всех,— без ущербинки. Есть муж и отец, хозяин и опора, с ним и заботы пополам и любая беда в полбеда. Какой там страх перед завтрашним днем, когда рядом крепкое мужское плечо: знай живи, и бога ворошить незачем!

Но Степан уехал, и нет твердой надежды, что вернется. Одна опора в семейных делах для Варвары — старая Грачиха. А та сама на себя не надеется, все у бога помощи ищет, что ни день, то долбит: «Молись! Молись! Кроме как у господина, ни у кого помощи не найдешь. Он всемогущ!..»

И Варвара по вечерам стояла на коленях, кланялась углу, уставленному иконами:

— Помогите, господи! Мать божья, заступница, не обойди милостью своей. Не загулял бы Степан-то на стороне. Не позарился бы на городскую, крашеную и пудреную...

Какая там перебежала Варваре дорогу, крашеная или некрашеная, но Степан домой больше не вернулся. Сначала высылал деньги и скупые письма, потом только деньги, да и те с перебоями.

Случилась самая большая беда, большей быть не может. Казалось, раз так вышло, чего уж дальше бояться — скинь страх, оглянись трезво вокруг. Но напугана жизнью Варвара.

Родька непоседой растет, день-деньской на реке пропадает. Страшно, вдруг да случится грех — утонет... Сохрани господь!

Учительница Парасковья Петровна на него жалуется: уроки-де плохо готовит... Страшно, вдруг да вахлак вахлаком вырастет. Образумь, господь, непутевого!

Корова плохо поела — страшно!

Собака ночью на луну выла — страшно!

Поутру дорогу черная кошка перебежала — ох, не к добру!

Кругом страсти господни. Нелегко жить. Спаси, Христос, и помилуй от всякой напасти.

Храпит на печи бабка. Заледенел в неподвижности огонек лампадки, едва-едва осветил два серых белка да узкий нос на новой иконе. Разорались уже петухи на воле.

Вывернула душу — пора и на боковую: утром вставать рано.

Варвара поднялась с колен. Ступая босыми ногами по узловатым от сучков половицам, прошла к кровати. Там, воткнув в вылинявшую подушку непослушные вихры, спит Родька. Косо упавший свет луны освещает сомкнутые ресницы, упрямые, от бабки перешедшие скулы, болячку на губе.

«Наказание мое... Ну-ка, святая икона ему явилась... К добру ли? Не случилось бы чего... Второй Пантелеймон-праведник... Чудеса, да и только... Охо-хонюшки!..» — Варвара сладко зевнула, стала осторожно отодвигать съездившегося под одеялом Родьку.

— Двинься, чадушко. Дай мамке местечко...

5

В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико ни было, — деревня, с церковью — село. В самом же селе Гумнищи церкви не было. Церковь стояла на отдалении, в версте в сторону.

Рассказывают так. Лет сто пятьдесят, а может, и двести, тому назад некий пастушонок Пантелеймон, гонявший деревенское стадо на Маикино болото, увидел там среди пней и кочек икону Николая-угодника. Пастушонок тут же перед ней опустился на колени и помолился о здравии болящей матери, которая вот уже много лет и зим не слезала с печи. Когда он пришел вечером домой, то увидел, что мать, сотворяя молитвы, ходит по двору, налаживает завалившийся тын. Икона оказалась чудотворной.

Вряд ли было на святой Руси такое место, где не рождались бы такие благостные, по-детски наивные, похожие друг на друга легенды. И каждый раз они разносились на много верст по деревням и селам, тревожа воображение, совесть, вызывая надежды.

К новоявленной иконе, к малознакомой до тех дней деревне Гумнищи потянулся народ — пешие с батожками и котомками, на подводах с женами и детишками, на лихачах с гиком и посвистом. Кто грабил, жульничал, беспутно пьянствовал, кто жрал толченую кору, как о великом счастье, мечтал о куске хлеба, кто изнывал от хвори — все, с грехами, нуждой, собственной грыжею поднимая пыль лаптями, разбитыми в кровь ногами, ошино-

ванными колесами, тянулись просить милости у чудотворной.

Сперва среди пней и кочек Машкина болота была выстроена из свежесрубленного кондача часовенка с тесовым шпилем вместо луковицы. Потом странники и странницы, те, что восхваление бога и посещение святых мест считали своей профессией, а новоявленное чудотворной — удачей жизни, пошли по дорогам Руси с жестяными кружками, погромыхая медяками, гундося елеино: «Подайте, православные, на храм божий!» И православные раскошелывались...

На Машкином болоте нельзя было выстроить добрую избу — перекосит углы, нижние венцы уйдут в трясину. Но ради чудотворной, во славу божью, всем миром нанесли песку, земли, камней, вымостили болото, средь ляжин и трясин сделали остров. На этом острове подняли вверх саженной толщины кирпичные стены, приезжие мастера расписали их богородицами, ангелами, Христовыми ликами, на высоту птичьего полета подняли многопудовые колокола, а еще выше, над голубыми луковицами, истекая огнем, едва не цепляясь за облака, засияли на солнце золоченые кресты.

И поднялся посреди Машкина болота не для жилья, не для посиделок, не для общего веселья, поднялся на столетия памятник темной веры в несуществующего бога, дорогая и громоздкая оправа для дубовой доски, не особенно искусно покрытой красками.

Новую церковь называли Никола на Мостах, в честь явленной иконы Николая-угодника и в честь того, что церковь воздвигнута на вымощенном руками верующих болоте.

Считалось, что чудотворная исцеляет от всех телесных и духовных недугов гораздо охотнее, если только перед ней сотворил молитву не сам просящий, а Пантелеймон, тот пастушонок, который первым преклонился перед иконой.

Пантелеймон вскоре стал чем-то вроде местного святого. Говорят, поставил себе мельницу и умер в глубокой старости праведником. Под селом на реке Пелеговке есть Пантюхин омут, возле которого на берегу до сих пор можно видеть каменную осыпавшуюся кладку — остатки фундамента пантелеймоновской мельницы.

За решетчатой оградой, под стенами церкви Николы на Мостах, одна возле другой стали ложиться могилки, над сельским погостом зашумели березки, рябинки, липы,

галки свили гнезда под куполами. В церкви менялись попы. Они крестили новорожденных, венчали молодых, отпевали покойников, служили заутрени, обедни, пели «многие лета», провозглашали «анафему». Запах ладана и атмосфера казенной святости окружили легендарную икону. К ней привыкли, слава ее поутихла, чудотворность уснула, и все-таки на нее продолжали молиться, за многие километры тащились, чтоб только благоговейно приложиться к ее лику, зажечь копеечную свечу.

В двадцать девятом году, в то время когда вокруг Гумниц создавались колхозы, последний из попов церкви Николы на Мостах был уличен в кулацкой агитации. Его самого раскулачили, отправили в Соловки, а церковь как пережиток старого решено было закрыть. С высокой колокольни, к великому негодованию старух, стянули веревками тяжелый колокол. Он, когда-то будивший своим медным рыком гумницинскую округу, ударился в землю и, охнув в последний раз в своей жизни, развалился. Все церковное имущество — серебряные оклады, кадила, дарохранительницы — конфисковали, а чудотворную икону по предложению сельских комсомольцев собирались уже переслать в краеведческий музей. Но она неожиданно исчезла. На этот раз такое событие вовсе не расценили как чудо, просто решили: кто-то из верующих стащил ее из пустой церкви.

Но долго еще вспоминали старухи икону, рассказывали об огнях на болоте, о душе Пантелеймона-праведника над омутом, о том, что каждую полночь в заброшенной церкви кто-то «пилит купол» — «истово, из минутки в минутку, каждую ночь перед петухами...»

С той поры прошло немало лет. И вот позабытая чудотворная икона вновь явилась под берегом реки Пелеговки.

6

Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамкин платок, надел пионерский галстук и, долго слюнявя ладони, разглаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:

— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.

Бабка, вместо того чтобы проворчать обычное: «Успе-

еще еще натрескаться...» — разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.

— Ну-ко, дитятко... — позвала она.

Родька с подозрением покосился на ее осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.

— Вот одень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристом-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шелковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту ступело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи.

— Еще чего выдумала? На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне небось, не бабке Жеребихе чудотворная открылась. И не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька еще больше съежился, отступил назад:

— Не одену.

— Экой ты... — Бабка протянула руку. Родька отскочил, светлые, с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно.

— Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не одену! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться тебе перед ними? Каждый всяк по себе живет, всяк свою душу спасает. Храни себе потаенно и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью, видно, только что с бороньбы или от парников — вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белесой занавесочкой ресниц — доброта.

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не одевала. На кой мне крест. Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не одевать? Сама знаешь: в школе не похвалят.

Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.

— Оберегаешь все? Ты ему душу обереги. Гнев-то божий, чай, пострашнее, чем учительница вымочку даст.

— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил.

— Ой, Варька, подумай: милость эта не осторожение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему все прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.

Мать сдавалась:

— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмышленого?

— Для господа что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоешь тогда по-другому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то, тьфу! Крест на шею сыну повесить совестно.

И мать сдалась.

— Надень, Роденька, крестик, надень, будь умницей.

— Сказал — не одену.

— Вот бог-то увидит твоё упрямство.

— Плевал я на бога вашего! Знал бы, эту икону и вырывать из земли не стал, я бы ее в речку бросил!

— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка. — Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, потаканье-то...

На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в щелки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.

— Добром тебя просят. Ну!.. Мать, дай-ка мне крест. Я-то надену на неслуха.

— Нет, пусть он себя крестным знаменем осенит. Нет, пусть он у бога прощения попросит. Пусть-ко скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».

На стене, под фотографиями в картонных рамочках, висел старый солдатский ремень, оставшийся от отца. Мать сняла его с гвоздя, впиалась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложила ремень из руки в руку.

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперед белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, настороженно блестящими глазами, Родька тихо-тихо пододвигался к двери, наvertingвал на палец конец красного галстука.

— Прав... прав не имеее.

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь умничек...

— Вот я в школе скажу все...

— Пусть-ко сунутся — я учителям твоим глаза все новыцарапаю. Небось не ихнее дело. Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабуку, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дернула за вихры. — Крестись, пашенок!

— Скажу вот всем! Скажу! Ой!..

Удар ремня пришелся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запиру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно, басом взревел, рванулся к двери, но бабука с непривычной для нее резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо.

— Ишь ты, лукавый. Нет, миленок, нет, встань-ко сюда!

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слезы.

— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову, вражонок. Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь еще упрямиться, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слезы рукавом чистой, надетой для школы рубахи; его правое ухо пламенело, казалось тяжелым, как налитый кровью петушиный гребень.

— Оставь его, Варька, — заявила бабука. — Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдет. Скажи тебе, скидывай сапоги!

Родька молчал, продолжая всхлипывать, упершись глазами в пол.

— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать. — Просят же, просят-ат! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!

По-прежнему упершись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба, стыдливо и неуменно перекрестился.

— Чего сказать надо?

— Прос... прости... госпо-ди...

— Только-то и просили!

— Когда лоб крестят, в пол не глядят, — сурово поправила бабука. — Ну-кося, на святую икону перекрестись. Еще раз, еще! Не бойся, рука не отсохнет.

Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слезы сердитые белки, уставившиеся на него с темной доски.

А на улице с огородов пахло вскопанной землей. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь желтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казалось бы, беспомощные зеленые стрелки и сморщенные листочки.

Зрелая пора весны. Через неделю люди привыкнут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето... Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озерца-ляжины с настоявшейся на прели водой, темной, как крепкий чай. Можно выловить матерую, перезимовавшую лягушку, привязать к ее лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, вглубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушачью икру, пересчитать черные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колесные колеи в низинках, залитые после половодья и еще не высохшие?.. В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые головлики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки; замути воду — и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжет кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменах, помни — если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаха: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но все равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабка с матерью выдумают.

На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман... Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху.

Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги. В карман?.. А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой.

Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстегивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затертым пиджаком у него новая рубаша, яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледней ее.

Васька окликнул:

— Эй, Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то еще не опоздали?

Подошел, поздоровался за руку.

— Ты какую-то икону нашел? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.

Родька, отвернувшись, лоя под галстуком непослушные пуговицы, пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:

— Ты слушай больше бабью брехню.

— Так ты не нашел икону? Врут, значит.

— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — Но на всякий случай Васька отодвинулся подальше.

Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженной голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-желтой рубашкой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, все всегда узнает первым. Весь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом, до самой школы не обронил ни слова.

8

О кресте Родька скоро забыл. На переменах устраивал «кучу малу», лазал на березу «щупать» галочки яйца...

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю беспокойными стайками разлетелись ребята в раз-

ные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнет расспрашивать об иконе, пропади она пропадом, ему бы найти такое счастье...»

На окраине пустыря Родька увидел старого Степу Казачка. Тот стоял, сунув одну руку в карман залатанных штанов, другой щипал жидкую — десяток оловянного цвета волосков — бородку.

Когда Родька приблизился, Степа Казачок почему-то смутился, поправил на голове рыжую кепку с тяжелым, словно непропеченная оладья, козырьком, неуверенно переступил с ноги на ногу.

— Родя... Сынок, ты того...

Васька Орехов, рассказывавший Родьке, как председатель колхоза Иван Макарович учил бригадира Федора объезжать жеребца Шарапа, замолчал, наострив уши, уставился на старика Степана. Тот недовольно на него покосился.

— Родька, ты, брат, вот что... Я тебе тут, на-кося, гостинец приберег...

Степан Казачок с готовностью вытащил из кармана захватанный бумажный кулек.

— Бери, брат, бери... Тут это — конфеты, сладь... Доброму человеку разве жалко. На трешницу купил.

Заскорузлая рука протянула кулек. Родька багрово вспыхнул. Он не понимал, почему дают ему конфеты, но чувствовал — неспроста. Замусоленный бумажный кулек, икона, которую он нашел под берегом, крест на шее, бабкино домогание крестить лоб — все, должно быть, связано в один таинственный узелок. Он сердито отвернулся.

— Что я, побирушка какой? Сам ешь.

— Да ты не сердчай, я тебе от души... Экой ты, право... — На темном, с дымной бородкой и слеченными губами лице Степы Казачка выразилась жалкая растерянность.

— Раз дают, Родька, чего отказываешься? — заступился за Казачка Васька.

— Ты-то чего пристал? — цыкнул Родька.

— Верно, братец, верно, — обрадованно поддержал дед Степан. — Иди-ко ты, молодец, своей дорогой, не встречай в чужие дела. Иди с богом. — Он снова повернулся к Родьке. — Мне бы, родной человек, парочку словечек сказать тебе надо.

— Больно мне нужно,— презрительно фыркнул Васька.— На ваши конфеты небось не позарюсь.

Он пошел вперед, независимо сунув руки в карманы, покачивая узкими плечами, но стриженный затылок, острые, торчащие в стороны уши выдавали и обиду и любопытство: Ваське всей душой хотелось послушать, о чем это будет толковать старик Казачок с Родькой.

— Не обижал бы, взял, а?.. Сам знаешь, не красно живу. Уж какая моя жизнь теперь! — Вздыхая, старик мял нерешительно в руке кулек.— Моя жизнь теперь такая, что помереть от тоски легче. Нутро болит, тяжелого подымать не могу, потому и в сторожа определился. Ведь я бабки-то твоей на три года, почитай, старше... Сына вот вырастил, дочь выдал за хорошего человека, в Кинешме теперь живет. Все бы хорошо, да одному-то, вишь, муторно.

Родька слушал, и ему становилось не по себе. Как ни повернись, все непонятное! Ну, разве стал бы раньше этот Степа Казачок так с ним разговаривать, жаловаться, как взрослому? Что такое?

— Не пожалуюсь, вроде и помогают отцу, то сын деньги вышлет, то дочка посылочку. Только, ох, скушно одному куковать. Тоска поедом ест... Дочь, конечно, ломоть отрезанный. Вот сына б хотелось обратно. Он парень холостой, характером мягкий, вернуть бы его домой. Любо, мило — женился, меня приголубил...

— Я-то тут при чем, дед Степан?

— У тебя, милоч, душа что стеклышко. Тебе от бога сила дана. Да что, право, ты моим подарочком гнушаешься? Возьми, не обижай, ради Христа... Ты, парень, помоги мне, век буду благодарен.

— Да при чем я-то?

— Не серчай, не серчай... Помолись ты перед чудотворной, попроси за меня перед ней, пускай Николай-угодник на ум наставит раба божьего Павла, это сына-то моего. Пусть бы домой вернулся. Моя молитва не доходит: многогрешен. А от твоего слова святые угодники не отвернутся, твое-то слово до самого бога донесут, ты на примете у господ-то... Чай, слышал про отрока-то Пантелеймона. Праведный человек был... Да конфетки-то, сокол, сунь в карман, коли сейчас к ним душа не лежит...

Солнце светит в зеленой луже посреди дороги. К дому бригадира Федора подъехал трактор, напустил голубого чаду, распугал ленивых гусей, заполнил улицу судорожным треском мотора. Кругом привычное село, привычная

жизнь. И никогда еще не было, чтоб в этом привычном мире случались такие непонятные вещи: расстроенное, жалостливо моргающее красными веками лицо деда Казачка, его разговор, словно Родька ему ровня в годах, его непонятная, заискивающая просьба, этот кулек... Да что случилось на свете? Не сошел ли с ума старый Казачок? Может, он, Родька, свихнулся?..

Родька оттолкнул руку старика, бросился бежать.

Не добегая до дому, он оглянулся: дед Казачок стоял посреди улицы — картуз с тяжелым козырьком натянут на глаза, редкая бородка вскинута вверх, во всей тощей фигурке со сползшими штанами растерянность и огорчение. Родьке, непонятно почему, стало жаль старика.

9

У Родькиного дома, на втоптанном в землю крылечке, сидели двое: маленькая, с острым, чем-то смахивающим на болотную птицу, лицом старушка и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярко — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трехрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило: жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком:

— Отрекись, нечистый!

Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился, пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на

базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквам, то в щелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров в соседний район, в Ухтомы.

Об этих делах безногого Киндя, как и все ребятишки, Родька был наслышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжелом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отекие от сидения ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У нее был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно выскакивающие вперед лица глазки. Сморщенная, темная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ко, покажись, любой! — Голос ее, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч.— Да чего рвешься, не укушу... Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабуку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благости...— Она обернулась к своему кланяющемуся сыну.— Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, он успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:

— Личико чтой-то бледненько. Видать, напужали эти окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребихи, Родька увидел еще двоих — Мякишева с женой.

Сам Мякишев кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок; окропленное веселыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским селпо, выступал на заседаниях, числился в активистах. Жил он около магазина в большом пятистенке под зеленой железной крышей. Уполномоченные, приез-

жавшие из района, часто останавливались на ночь у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и все-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».

Увидев у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось: вот-вот выскочит из своего просторного, с жеваными лацканами пиджака; не только щеки, даже уши его двинулись от улыбки.

Беременная жена Мякишева устала на Родьку выкаченными черными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина, — с досадой проговорила Родькина бабка, — что толку волю слезам давать. Бог даст, все образуется. Родишь еще, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются!

Заметив слезы у жены, Мякишев сконфуженно заерзал, забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю. — Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке. — Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашел?..

Родька, напуганный разговором с Казачком, ошеломленный встречей с безногим Киндей, затравленно озирался. С ума все посходили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришел. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..

Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголодался небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.

Пока бабка орудовала у шестка, жарила на наципанной лучине яичницу, Родька, словно связанный, сидел у окна, косил глазом на улицу.

Жена Мякишева тихо плакала, утирала слезы скромным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:

— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.

— Истинно. Забыли бога все, забыли. По грехам нашим и напасти, — скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.

— Вера-то нынче вроде клейма какого. Меня взять в пример... Мне бы не днем полагалось прийти к вам, а ночью, потаенно, чтоб ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать. Легко ли терпеть...

— Ничего, за бога и потерпеть можно,— отозвалась от шестка бабка.

— Так-то так,— не совсем уверенно согласился Мякишев.— Только чего зря парываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену приводил.

Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:

— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье.— И, повернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух,— чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.

Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел ее желтые, в напряженно собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — не будет прощения.

— Ну, чего мнешься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... садись, да бога помни.

Правая рука Родьки, тяжелая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:

— Родненький мой, помолись за меня, грешницу. По гроб жизни благодарить буду...

Родька съежился...

Никогда еще так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!

За усадьбами запыхавшийся Родька пошел медленнее.

Теплый рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-черная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Лес, пока холодный, лиловый, то там, то сям краплен мокрыми семейками темных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не верит Родька, что все изменилось. Мало

ли чего не случается дома. День, другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...

На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены: парень в красноармейской шапке времен гражданской войны, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял ее в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника? Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарши попало... Мать всегда дает деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пяточка не выпросишь...

Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Все село приходит смотреть. Юрка Грачев из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнет рассказывать — хватайся за животики.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскивали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...». Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придет председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и по мужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы.

Пусть дома икону обхаживают, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придется не век. День-другой, глядишь, все утрясется.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-желтой рубашке, ясным пятнышком горевшей среди однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов и Венька Лупцов — вечная компания.

Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое

развлечение ждет его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.

— Ах, вот оно что, купаться надумали!

В реке вода еще мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, — купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озерца, оставшиеся после половодья, уже прогреты солнцем.

— Э-э-эй! — закричал Родька. — Че-ерти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнет? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущенно стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.

— Топчетесь? Небось мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый, — ответил Венька.

— Эх!

Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, влившись в грудь Родьки черными, настороженно заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивленно, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, пе-

ред затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, желтое, под цвет Васькиной рубахи.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший все еще с открытым ртом, в одной рубахе, без штанов, взглянул в Родькино лицо, зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в черных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться. Родька ударил его с размаху прямо в испуганные черные глаза.

— За что? — крикнул тот, падая на спину.

Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившись глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вывавшись из рук Пашки, Родька, не поднимая головы, как-то странно горбатясь, подхватил с земли свой пиджак и рубаху, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озерца, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шелковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону.

11

До сих пор весь мир для него делился на три части: дом, улица, школа.

Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.

На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют.

А школа?.. Ведь и в школе все будет известно!

Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.

Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов. Ему было хорошо видно все село: темные тесовые крыши,

железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».

В стороне от села церковь. Она древнее этих домишек под тесовыми и железными крышами, но издалека не видно, чтоб старость обезобразила ее: белые стены тепло сияют на закате, ржавые купола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную темную массу. В залитых сумерками ложбинках лег синий мутный туман. И наконец темнота совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно — не усторожишь, когда появляются, — затеплились огоньки. Долго еще упрямылась церковь, долго сквозь ночь белели неясным пятном ее стены.

Сыростью потянуло от реки, стало холодно в одном пиджаке. Очень хотелось есть. За спиной плескалась река, сейчас черная, чернее и бездоннее неба. Луг, знакомый днем до последней кочки, сейчас казался глухим и диким местом. С него доносились какие-то непонятные звуки: что-то хлопнуло, что-то зашуршало, кто-то вдалеке ожесточенно забился, может быть, птица, устраивающаяся на почь, а может, что-то другое, не имеющее ни названия, ни лица, никому из обычных людей не знакомое. Даже ручей, все время ровно шумевший вдалеке, теперь, с темнотой, заворчал как-то зловеще. Даже кусты, в которых прятался Родька, тощие, обвешанные после половодья лохмотьями грязи, кажутся страшными. Невольно ждешь: вдруг да в темном провале под ближайшим кустом вспыхнут глаза то ли зверя, то ли сказочной птицы, желтые, холодные, как две маленькие луны! Веришь каждой сумасшедшей мысли, вздрагиваешь от каждого шороха. Нельзя здесь оставаться!..

Как бы то ни было, а среди этой темной, сырой ночи самое близкое и самое родное — огоньки села. Пусть там живут люди, которым стыдно показаться на глаза. Пусть неуютен дом, сердитая бабка будет проверять, цел ли крест на шее. Пусть. Все равно деваться некуда, надо идти...

«Завтра утром сбегу... Переночую и сбегу. Так и скажу мамке, коли за крест бить будет», — решил Родька и поднялся на онемевшие ноги.

Чем ближе он подходил к дому, тем острее чувствовал: ужасен был день, и конец его должен быть ужасным. Сейчас все кончится...

Когда Родька взялся горячеей, влажной рукой за холодную скобу двери, на секунду остановилось сердце.

Но все обошлось просто. Опять в избе было полно гостей. Кроме знакомых — Жеребихи, бабки Секлетей, толстой Агнии Ручкиной, — сидело несколько не известных Родьке человек. Сухощавый, с хрящеватым кривым носом старик читал вслух очень толстую, с желтыми листами книгу.

Все старательно слушали, сопели, но по лицу каждого было видно: ничего не понимают.

Мать, боясь спугнуть слабенький и ломкий голос старика, осторожно поднялась с лавки, подошла к Родьке, проворчала шепотом:

— Ты бы к утру еще приходил, полуношник! Иди-ко в горницу, поешь, там молоко стоит. Завтра опять в школу опоздаешь.

От обычного ворчливого голоса матери свалился с души тяжелый груз.

На этот раз Родьку не вытащили к гостям. Лежа на своей постели, он, засыная, слышал разговор за перегородкой.

— Надо в район идти, просить, чтоб церковь открывали.

— Жди, откроют!

— А мы миром попросим!

— Да велик ли наш мир-то? Кто помоложе, тем плевать на святые дела. Даже Мякишев и тот слово не замолвит. Богу молится да оглядывается, как бы кто не заметил.

Родька не дослушал этот нешумный спор, уснул. И сон его был тревожен. Мать, спавшая с ним рядом, часто просыпалась от его жалобных выкриков, поправляла одеяло, говорила с тревогой:

— Неладное чтой-то с парнем.

А утро началось для Родьки с удач.

Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.

Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнивший пол и бабка все утро возилась — выгребала навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед завтраком не перекрестил лба.

На улице звонко лаяли собаки, на унавоженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, а с окраины села, со стороны скотных дворов, где обшивали тесом новое здание сепараторки, доносился захлебывающийся, свирепо-восторженный вой циркульной пилы, распарывающей из конца в конец сосновое бревно.

Вчера вечером Родька считал, что произошло непоправимое — нельзя больше жить дома, нельзя показываться на улицу, нельзя ходить в школу. Вчера вечером твердо решил: сунуть в карман кусок хлеба, спрятать учебники под крыльцо и... бежать из села. Сначала в Загарье, а там будет видно...

И вот он стоит, жмурится на солнце, слушает хвастливое кудахтанье соседской несущки — учебники в руке, ржаная горбушка оттопыривает карман — и чувствует, что не так уж все страшно: ну, бабка за потерянный крест поколотит — мало ли случалось от нее хватать плюх, — ну, ребята будут смеяться, да и то, пусть-ка попробуют. Стоит ли из-за пустяков бежать из дому, разве плохо ему жилось раньше?..

Родька решительно зашагал к школе.

Воробьи с каким-то особенным весенним журчанием брызнули из-под самых ног. Петух бабки Жеребихи, с кровавистым гребнем, свалившимся на один глаз, ослепляюще-рыжий — ни дать ни взять кусок горячего солнышка на огороде, — нагло заорал вслед воробьям, весь вытянулся от негодования. «Ну, чего, дурак, ты-то лезешь? Знай свое дело!» Комок сырой земли полетел в петуха, тот сконфуженно стушевался.

Плевать на бабку, плевать на ребят, все образуется, все пойдет по-прежнему!

Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющуюся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоет умильным голоском: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустив голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше.

А навстречу озабоченной походкой враскачку — руки в карманах, заветная для Родьки на затылке флотская

фуражка с лакированным козырьком, в зубах жеваная сигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже все знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живет!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-то, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угодники тебя старухи записали?.. Идет Иван Макарович, что ни шаг, то ближе, никуда не свернешь, никуда не сбежишь. Родька изо всей силы пригнул голову, лишь бы не увидел председатель лицо, только бы не остановил. Вот его тяжелые сапоги, вдавливающие каблук в землю, вот слышен даже шорох одежды — сейчас остановит... Уф! Прошел мимо, обдав чуть внятным запахом махорочного дымка. Родька с благодарностью оглянулся на широкую председательскую спину.

Но тут же он заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.

И когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идет в школу, а там, прячась не прячась, они все — Пашка Горбунов, Васька Орехов и Венька Лупцов — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься...

Режущим глаза солнцем залита широкая неказистая улица села. Чей-то женский голос на усадьбах, за домами, кричит:

— Иван! Иван! Иль опять мне за лошадью к председателю идти, дешевая твоя душа? Навязали увальня на мою голову!

У всех свои дела, у всех свое место. Место есть даже у старого, кривого на один глаз пса Дубка; лежит на дороге, деловито выкусывает блох из клочковатой шерсти.

За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стекол в домах, не ругался худыми словами. За то, что нашел под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперед...

Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шел ошеломленный не совсем еще понятным ему несчастьем Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения.

— Гуляев!

Родька, как от удара, рывком обернулся. Тяжелой мужской поступью подходила Парасковья Петровна, учительница русского языка, Родькина классная руководительница. Медлительная, немного грузноватая, одетая в вязаный жакет с обвисшими карманами, лицо круглое, плоское, загорелое — истинно бабье деревенское лицо, — приблизилась, и под ее пристальным взглядом Родька поспешно наклонил голову.

— До уроков зайдем-ка в учительскую.

Минуту назад еще можно было решиться забросить книги, повернуть в сторону, бежать. Теперь поздно: рука Парасковьи Петровны легла на плечо.

От просторной учительской отделена перегородкой крошечная комнатка. В ней стоит горбатый диван, обтянутый блестящей черной клеенкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещевания, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение.

В этот-то кабинет, поеживаясь в нервном ознобе, вошел Родька и уселся на вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казенный холодок черной клеенки.

Парасковья Петровна подперла щеку кулаком.

— Опять рукам волю даешь? За что Лупцова ударил?

Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеенке.

— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил.

Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точеной, как крылечная балясина: сейчас заговорит о кресте.

— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Парасковьи Петровны дойдет? Так?.. Обидно мне, братец.

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Удивляешься? И удивляться нечего: обидно мне, что мои ученики боятся ко мне прийти и рассказать все. Ведь, наверно, нелегко было?

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Это бабка тебе то украшение надела?

— Они меня в школу не пускали,— наконец выдавил из себя Родька.

— Значит, и мать тоже?

— Тоже...

Парасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошла из угла в угол. Объемистая, в вылинявшем жакете, она среди всей обстановки — письменного стола, дивана, жиденького стула, приставленного к стене, — казалась неуклюжей, случайной, грубой, человеком, которому место где-то возле скотного двора, на поле, а не в тесном кабинете. Родька же, следивший за ней исподлобья, видел только одно: Парасковья Петровна сердится, но, кажется, не на него, Родьку.

— Креститься заставляли? — спросила Парасковья Петровна.

— Заставляли.

— А ты не хотел?

— Не хотел... За стол не пускали.

— Так.

Снова несколько тяжелых шагов из одного угла в другой.

— Ладно, Родя, уладим. Я поговорю с твоей матерью. Сегодня же... Вот два урока проведу и схожу к вам.

Подошла вплотную, взъерошила ладонью сухие, упрямые волосы на Родькиной голове.

— Все уладим. Только, братец, больше кулаки не распускай. С Лупцовым надо помириться. Вот мы его сейчас сюда вызовем.

Через пять минут в дверь бочком вошел Венька Лупцов, сразу же отвернулся от Родьки. Нос у него распухший, красный, выражение лица оскорбленно-постное.

— Гуляев хочет извиниться перед тобой, — объявила Парасковья Петровна. — Подайте друг другу руки, и забудем это некрасивое дело... Ну, что, Родион, сидишь? Встань... Быстро, быстро, сейчас звонок подадут...

Венька и Родька вместе вышли из учительской. В коридоре, по пути к своему классу, пряча глаза друг от друга, накоротке переругнулись.

— Зараза ты! Драться полез! Чего я тебе сделал?

— А ты ябедничать сразу! Мне Федька Сомов, помнишь, как съездил! Я ни словечка никому не сказал.

— И я бы не говорил, да нос шибко распух. Парасковья Петровна сама дозналась...

Такая перебранка только укрепляла примирение.

Тридцать лет Парасковья Петровна учила гумнищинских ребятишек. Жила, казалось, ровной, без взлетов и падений жизнью: изо дня в день топтала тропинку от крыльца своего дома до школы, из года в год в определенный день повторяла то, что в тот же день, в тот же час говорила другим поколениям. И так тридцать лет! Время она измеряла своими собственными событиями:

— Когда это было?.. Ах, да, помню! В тот год я измучилась с Гришей Скундиным. В семье у него было плохо, хотел бросить учиться. Способный мальчик.

А сам «способный мальчик» Гриша Скудин, ныне врач или инженер, почтенный семьянин, живущий где-то за сотни километров от села Гумнищи, наверняка давным-давно забыл свою маленькую трагедию, да и, бог знает, вспоминает ли самое Парасковью Петровну, которой обязан тем, что не бросил школу, пошел учиться дальше, нашел свою судьбу.

Все прошлое, все тридцать лет работы заполнены удачами и неудачами, радостями и горем детей, которых учила Парасковья Петровна.

Когда она окликнула Родьку, увидала его испуганный, затравленный взгляд, то по своему многолетнему опыту поняла: случилась беда, одна из тех, которую не впервые придется распутывать ей, учительнице Гумнищинской неполной средней школы.

Во дворе дома Гуляевых стояла распряженная лошадь, разрывала мордой сено в пролетке. Почуя приближение Парасковьи Петровны, она подняла свою маленькую красивую голову с белой проточиной от челки к носу.

«Кто ж приехал? Не Степан ли?..» Родькин отец, Степан Гуляев, как и большинство гумнищинцев, был одним из учеников Парасковьи Петровны.

Но тот, кто сидел в избе и вежливо ответил на приветствие, вовсе не походил на Степана Гуляева.

Гость был преклонного возраста. Круглое, рыхловатое лицо заканчивалось мягкой, седой, до легкой голубизны чистой бородкой.словно чужие на этом рыхлом лице, вылезали из-под жидких усов полные, с чувственным рисунком губы. Возле высокого лба росла тощая поросль, зато с затылка и с шеи седые волосы спадали на воротник грубого и добротного пиджака давно не стриженными космами. А в общем, незнакомец напоминал сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от

скуки деревенской жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом.

Старая Грачиха, беседовавшая с гостем, спросила:

— Что там, матушка Парасковья Петровна? Ай опять наш сорванец набедокурил?

— У него-то все в порядке.

Морщинки у коричневых век собралась гуще, желтые глаза старухи из прищура взглянули с подозрением.

— Не без дела же, чай, зашла? Других делов, кроме Родькиных, промеж нами вроде не водится.

— Где Варвара?

— Где ей быть, на работе. Жди, коли хочется.

— Подожду.

На скуластом лице старухи выразилась откровенная досада. Гость сидел, слегка склонив на одно плечо свою крупную голову, не в пример бабке доброжелательно поглядывая на учительницу. С минуты стояла тишина: под печкой слышался мышинный шорох. Бабка не выдержала:

— Ждать-то можно, чай, места не просидишь. Только у нас, сударушка, свой разговор с отцом Митрием.

«Ах, вот кто это! — удивилась Парасковья Петровна. — Загарьевский поп...» Ей иногда случалось слышать об отце Дмитрие, как-то незаметно выплывшем после войны в районном городке.

От бесцеремонных слов Грачихи отец Дмитрий смутился, и при этом доморощенный нигилист сразу же исчез в нем — перед Парасковьей Петровной предстал просто добрый старик.

— Ох, уж ты, Авдотья Даниловна! — недовольно произнес он. — Ну, какие у нас секреты? Просто свои дела решаем. Вам только, Парасковья... э-э, простите, запомнил, как вас по батюшке?

— Петровна.

— Вам, Парасковья Петровна, будет скучно слушать. — И, боясь, как бы неожиданная гостья не ушла, не унесла с собой подозрение, поспешно начал объяснять: — Слышали. найдена старинная, считавшаяся безвозвратно утерянной икона Николая-угодника, которую когда-то почитали как чудотворную. Вот она... — Отец Дмитрий показал в угол белой, со вздувшимися голубыми венами рукой. — Это для нас, верующих, своего рода ценность, я бы сказал, общественная...

Он говорил мягко, но в мягкости его не ощущалось

перешительности, напротив, проскальзывали наставнические нотки.

— ...Место такой реликвии в храме...

Бабка Грачиха перебила его:

— В каком храме? От нас подальше поровите утащить! Храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть его надо.

— Рад бы душой, да вряд ли удастся.

— Надо, батюшко, не полениться пороги обить. Один начальник не разрешит, к другому, что повыше сидит, пойти да поклониться... Легко ли нам в каждый раз, чтоб господу помолиться, за двенадцать верст к вам в Загарье гулять?

Отец Дмитрий сдержанно пожал плечами, отмолчался с сокрушенным лицом.

Парасковья Петровна разглядывала его. Вот сидит перед ней старичок с дедовски мутноватыми глазами, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, приличный разговор,—глашатай господа бога, представитель обреченного на вымирание, но не желающего вымирать племени. Кем он был? Вряд ли всю жизнь только служил богу. Верит ли сам в бога? Верит ли в то, чем живет она, Парасковья Петровна? Как сегодняшшний день уживается в его старой голове с заветами Христа, наивными легендами о воскрешении, святом духе и райских куцах?

— Отец Дмитрий,— решила заговорить Парасковья Петровна,— раз уж пришлось встретиться, давайте потолкуем.

Без тени настороженности отец Дмитрий склонил седую голову, выражая на своем лице лишь одно — полнейшее внимание.

— Я как неверующая помню, что в нашей стране сохраняется свобода вероисповедания. Никто не может запретить человеку молиться какому угодно богу. Но и насильственное принуждение к верованию запрещается.

Отец Дмитрий с готовностью покачал головой: «Так, так, верно». Бабка Грачиха, ничего не понявшая из речи учительницы,— «свобода вероисповедания», «насильственное принуждение»,— почуяв, однако, недоброе, сердито переводила свои кошачьи глаза с отца Дмитрия на гостью.

— А здесь, в этом доме,— продолжала Парасковья Петровна,— на моего ученика, пионера, силой надели крест, силой заставляют молиться...

— Это, сударушка, не твое дело! — резко перебила Грачиха.

— Обожди, Авдотья, потом возразишь, — отмахнулась Парасковья Петровна.

— И ждать не буду, и слушать не хочу! На-кося, в семейные дела лезет!.. А я-то, убогая, все гадаю: зачем пришла?

— Авдотья! — неожиданно строгим тенорком оборвал ее отец Дмитрий. — Хочу поговорить с человеком. Иль для этого из дому твоего уйти?

Грачиха сразу же осеклась, едва слышно заворчала под нос:

— Хватает нынче распорядителей-то... Распоряжайся себе, только в чужой дом не лезь...

Поднялась, отошла к печи, сердито застучала ухватом. По спине чувствовалось: напряженно прислушивается к разговору.

Парасковья Петровна продолжала:

— Школа учит одному, семья же — совсем другому. Или школа заставит мальчика отказаться от бога, или семья сделает из него святошу. В наше время середины быть не может. А пока будет идти спор, два жернова могут перемолоть, перекалечить жизнь ребенка. Пусть родители веруют как хотят и во что хотят, но не портят мальчику будущего. Его будущее принадлежит не только им. Волей или неволей они становятся преступниками перед обществом.

Бабка Грачиха, согнувшись, шевелилась чуть слышно у печки, бросала из-за плеча горящие взгляды. Отец же Дмитрий, вежливо выждав паузу, спокойно глядя в лицо учительницы своим стариковски добрым, честным взглядом, осторожненько спросил:

— А какое я имею касательство к этому, Парасковья Петровна?

— Стоит ли объяснять, отец Дмитрий? Самое прямое. Вы для этой семьи духовный пастырь, и ваше отношение к делу для меня небезынтересно.

— Гм... Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник тот, кто выступает против закона. Скажите, будет ли противозаконным такой случай. Мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать: «Есть ли, мама, бог на небе?» Обычный детский вопрос, но он касается основы основ вероучения. Верующая мать, сами посудите, не может иначе ответить: «Есть бог, сынок». А если детское любопытство будет простираться и дальше: «Какой

бог из себя, что он делает?» — то матери придется объяснять о триединстве, о бессмертии души, о Судном дне. Там, глядишь, вера вошла в ребенка, там и молитвы и крест на шею. Где тут граница законного и противозаконного? Где же тут, скажите, преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Парасковья Петровна?

«Ловок! Советским законом, словно бревнышком, подперся», — удивилась Парасковья Петровна и только тут поняла, как глупо было с ее стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого по взглядам человека.

— Есть много преступлений, — сказала она, — которые не сразу подведешь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее вредными для общества.

— Каждый смотрит на вещи по-своему: вы так, я эдак, — с готовностью подхватил отец Дмитрий, — а закон для всех один. И, поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка запутался бы, не нашел, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому... — Отец Дмитрий поднял склоненную голову. Расплывчатые, рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой поросли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину. — Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы ни обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько позволяют мне слабые силы.

Выражение сурового лица бабки Грачихи чуть-чуть смягчилось. Она стояла у шестка, сложив свои тяжелые руки на животе, глядела на учительницу с беззлой издевкой: «Не кичись, что ума палата, мы тоже не лыком шиты».

Отец Дмитрий вынул из кармана металлический портсигар с отштампованной на крышке кремлевской башней, взял из него папироску, постучал по башне, прикурил, с отеческим прищуром взглянул сквозь дым на Парасковью Петровну.

Та продолжала наблюдать за ним.

Этот батюшка не только хорошо уживается с советски-

ми законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всем покорен, со всеми согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы. Из-за этого-то «малого» и начинается война. И тут седенький старичок, играющий сейчас металлическим портсигаром с изображением кремлевской башни на крышке,— враг Парасковье Петровне. Вот он сидит напротив, ласково глядит, вежливо улыбается. Интересно бы знать одно: сознает ли он сам, что они друг другу враги, или не сознает?.. Трудно догадаться.

— Мы все равно не придем к согласию,— сказала Парасковья Петровна.— Я хотела бы добавить только одно, что ваши кивки в сторону закона напрасны. Я вовсе не собираюсь подавать в суд, действовать при помощи милиции. Есть другая сила — общественность. Она же, я уверена, будет на моей стороне.

— А я,— с дружеской улыбкой подхватил отец Дмитрий,— осмелюсь заверить: ни в чем не буду вам препятствовать.

Тяжелая дверь избы со всхлипом открылась. Вошла Варвара, с беспокойством поздоровалась с учительницей.

15

Отец Дмитрий решил держаться своего правила — «я сторона». Едва Варвара опустилась на стул, как он поднялся, вежливо потоптавшись и покашляв у порога, натянул на седую голову кепку, вышел во двор.

Бабка Грачиха спохватилась, что потеряла много времени на толки и перетолки, принялась метаться по хозяйству: то исчезала в сених, то ныряла в погреб, то заметала мусор у печи, время от времени бросая подозрительные взгляды в сторону загостившейся учительницы, прислушивалась.

Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, тупо уставилась в крупные пуговицы на вязаной кофте Парасковьи Петровны.

А Парасковья Петровна убеждала:

— ...Губишь парня, Варвара. Мать ты ему или мачеха?.. Ведь он пять лет проучился в советской школе, а

ему и всего-то навсего двенадцать. Почти половину жизни его учили, что бога нет. Товарищи его смеются над баснями о чудотворных иконах, о Пантелеймонах-праведниках. Неужели тебе хочется, чтоб и сын твой был посмешником?..

— Что тут дивного,— отозвалась от печи старуха, не переставая с ожесточением возить веником по полу,— изведут парнишку и от училища еще благодарность выслужат. Нове и не такие дела случаются.

— Авдотья, делай-ка свои дела. Дай поговорить спокойно,— сурово обрезала Парасковья Петровна.

Бабка бросила веник, громыхнула заслонкой, сжав губы в ниточку, двинулась к выходу, в дверях бросила:

— Правда-то небось глаза колет.

— Что дороже для Роди: бабкина опека или школа? — продолжала Парасковья Петровна.— А ведь дойдет до того, что парнишка с отчаяния школу бросит, неучем останется. Иль ты думаешь, он проживет всю жизнь одними бабкиными молитвами?..

У Варвары желтые глаза широко расставлены, между ними кожа на плоской переносице туго натянута. И в этой туго натянутой коже, во вздернутом коротком носу чувствовалась какая-то безнадежная тупость. Слушает, не возражает, но каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах.

— ...Если ты такая верующая, крестись, молись вместе со старухами, по оставь Родиона в покое. Слышишь, Варвара, пожалей парня!

И в опустошенных глазах Варвары зашевелилась тревога, они растерянно забегали по столу, влажно заблестели. Туго натянутая на переносице кожа стала стягиваться в упругую складку. Огрубелым пальцем Варвара провела вдоль щели между скобленных досок стола, заговорила:

— Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпалет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаете, а ведь кто знает... Может, слышит нас...

— Кто слышит?

— Да бог-то.

Полная, белая шея, из-под застиранной кофты выпирают груди, плечи покатые, пухлые, в то же время крепкие — зрелая, полная здоровая женщина. А в светлых

с сузившимися в мушиную точку зрачками глазах тупая тревога. Нет в них мысли, один страх. Парасковья Петровна вспомнила ее девчонкой, своей ученицей: круглая, розовая рожица, бойкие, с блеском, как у игривой кошечки, глаза, — уж во всяком случае глупышкой не казалась. Видать, не все-то с годами совершенствуется в природе.

— Эх, Варвара, Варвара! Как в тебя вдолбить? Этим страхом да дикостью и покалечишь жизнь сыну.

— Господи! Да разве нельзя ему в бога веровать и жить, как все?

— То-то и оно, что нельзя. Время Пантелеймонов-праведников отошло.

Слезы потекли по щекам Варвары.

— За что мне наказание такое в жизни?

— Клинышки вышибают клином. Подумай обо всем, что я сказала. И еще заруби себе на носу: школа парня на выучку старухам не отдаст. — Парасковья Петровна поднялась.

Она шла к дому своей медлительной, тяжелой походкой, чуть сутулая, полная женщина в обвисшей вязаной кофте, уважаемая всеми учительница, у которой каждый второй встречный в селе — ее ученик.

Она шла и думала о том, что и ее самое жизнь радуется не одними удачами, много, очень много разочарований. Всякий раз, когда вглядываешься в своих учеников, невольно любишь ими. Не любоваться нельзя: детство всегда обаятельно. Каждого представляешь в будущем, видишь взрослым: Петя Гаврилов рисует — как знать, не станет ли он художником! У Паши Горбунова эдакая прадедовская крестьянская жилка — любит слушать о земле, о яровизации — быть ему агрономом. За все тридцать лет работы от каждого своего ученика Парасковья Петровна ждала в будущем только хорошего.

И разве не горькое разочарование испытала она, когда Михаил Соломатин, заведовавший магазином при сплавконторе, был посажен на восемь лет за растрату? Он в школе был несколько не хуже других. Что испортило его? Что толкнуло на преступление? Растратил — посадили, причиной не заинтересовались. Осот сорвали, корень оставили.

Вот и Варвара, мать Роди Гуляева... Что заставило ее стать такой? Неужели в этом есть вина ее, старой учительницы Парасковьи Петровны?

Дома Парасковью Петровну ждало обычное дело — ученические тетради. В стопке тетрадей она отыскивала

тетрадь Роды Гуляева. Обложка еле держится, углы загнулись, первая страница написана любовно, без помарок, вторая же начинается с протертой дырки: неудачно сводил кляксу. Мальчишечья тетрадь.

Она прожила с колхозом с его зарождения до сегодняшнего дня. Жила не бок о бок, а внутри колхоза. На ее глазах сменилось двенадцать председателей, на ее глазах построили все хозяйство: фермы, телятники, конюшни. И это хозяйство успело уже отслужить свое, понемногу начинают отстраивать заново. Ей ли не знать во всех мелочах жизнь Варвары Гуляевой...

Окончила пять классов; сперва просто помогала матери, потом была зачислена в первую полеводческую бригаду; боронила, косила, жала, молотила — делала, что приказывали бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить ее: пораскинь сама мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы. Никто не учил: думай над жизнью, вникай в нее. Все, от колхозного бригадира Федора до районного начальства, только приказывали: борони, жни, коси по возможности быстрее, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберемся. Помнили: она — рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме того, еще и человек, часто забывали. А Варвара была не из тех, что могла доказать — она способна думать. Покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой. Неизбежен умственный застой, неизбежно и то, что ей приходилось искать всемогущественного, справедливого повелителя, который был бы всегда под рукой.

А тут еще война. Тут еще неудача с мужем, вечный мелочный страх перед завтрашним днем. Так ли уж нужно винить ее, что она бросилась искать спасения у бога?

Парасковья Петровна застывшим взглядом уперлась в низенькое деревенское оконце. На столе забыто лежала раскрытая на диктante тетрадь Родьки Гуляева.

После большой перемены Васька Орехов принес Родьке новость:

— А к вам в гости поп из Загарья приехал. Завтра перед твоей иконой молебен служить будет.

— Ты откуда знаешь?

— Тетрадку по ботанике забыл, домой бегал. Мамка сказала.

Ох, как не хотелось идти домой! Мало гостей, тут еще поп... После школы Родька долго бродил по пустырю, но голод не тетка — пришлось идти...

Во дворе, уткнувшись мордой в сено, дремала незнакомая лошадь. В избе, однако, кроме бабки и матери, никого не было. Они ругались.

Мать с заплаканными глазами, со вспухшими губами, с непривычной для Родьки злостью кричала на бабку:

— От школы отобьется! Легко ли жить нынче неучем-то! Вся жизнь наперекос у парня пойдет. Мать я ему или не мать?

— Ты шире уши распускай, такие ли тебе еще песни напойт. Они на это мастера великие. Иль учительша для тебя важней господа? — Бабка стояла посреди избы с кирпично-красным от гнева лицом, с растрепанными седыми волосами.

— Всю вину сама перед богом приму. Замолю сыновьи грехи, а отбивать от школы не дам! Не след ему со школой не ладить!

— Вот они, слова Иудины! Еще, бессовестная, диву даешься, что счастья нет! Да за какие заслуги счастье-то тебе? Чем ты перед богом поступилась? От бога плоть свою спрятать хочешь? Ужо отзовется это. Да не на тебе, на Родьке. По материной дурости будет он век вековечный беду мыкать...

Бабка первая заметила остановившегося у порога Родьку.

— Вон он, безотцовщина, сказывается кровь... Должно, все до последнего словечка вытряс перед учительшей. А та рада: фу-ты, ну-ты, я в вашем доме начальница! В отца Дмитрия, словно клещ, впилась... Господи! Да за что я стараюсь! За счастье же ваше. Много ли мне надо? Одной ногой в могиле стою...

Мать бросилась к Родьке, прижала к себе, запричитала на всю избу:

— Горюшко ты мое! Что мне с тобой делать?

Теплая грудь матери уютно пахла, как после сна пахнет нагретая лицом подушка. Родьке, раскаявшемуся в том, что он пришел домой, вдруг стало жаль мать.

— Повой, повой, от этого все равно легче не станет. Все одно от бога не спрячешься, — сердито выговаривала со стороны бабка.

Постукивая костью, вошла Жеребиха; не разгибаясь, откинув лишь голову, веселенько окликнула:

— Ай нелады какие?

— Где уж лады! — отозвалась бабка. — Учительша тут недавно была, смутила вовсе Варьку. Беда, мол, будет с парнем, коль от бога не откажется.

Жеребиха, бегая черными, не по веселому лицу тусклыми глазками, простучала к лавке, уселась, согнутая, нацелившаяся головой в сторону Варвары, мягко спросила:

— Это какая учительша? Парасковья Петровна? Так она, родные, партийная. А им, партийным, такой указ дан: всех начисто от бога отбивать. Дива нет, что отговаривала.

Мать виновато оправдывалась:

— В школе-то за бога не похвалят. А сама посуди, куда нынче без школы денешься? Велика ли радость, коль Родька всю жизнь, как мать, возле коровьих хвостов торчать будет?

— Тут уж, касатушка, выбирать нечего. Как господь положит, так и будет. Против его воли не пойдешь.

— Живут же люди без бога, — возразила Варвара, — не хуже нас с вами.

— Слышь, какие речи ведет? — бросила бабка.

Жеребиха пошевелилась на лавке, села плотнее, средь веселых морщинок мрачновато глядели черные глазки.

— Под мечом поднятым живут, матушка, под мечом. Только с виду их жизнь гладкая да развеселая. А глянуть внутрь, в душу-то влезть, поди чистый содом да маета. Поразмысли только: от бога отказались. Люди тыщи лет в бога верили. Неужели за тыщу лет не народилось поумней нынешних? Не от ума все это, а от гордыни. Глухи и слепы. Бог нет-нет да и пошлет о себе весточку. Только эти весточки-то понимать не хотят. Василия Помелова помнишь? Хоть дальний, да родственничек мне. Тоже партийный, куда уж, первым за веревку взялся, чтоб колокол со святого храма стянуть. На всех углах кричал: «Лерингия — дурман! Бога нету!» И уж поплатился за свое богохульство. Не приведи господь такую смерть принять. Как война началась, его первого, голубчика, под ружье забрали. До фронту не доехал, бомба прямехонько в него попала, косточек не осталось, в землю схоронить нечего. Вот оно, наказание — могилки и той нет, и пожалеть некому и поплакать некому. Верка-то, женка его, живехонько к другому переметнулась...

Родька, забытый всеми, стоял, прислонившись к печному боку, и слушал. Никогда за всю жизнь он серьезно не думал о боге. В школе говорили: бога нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабкиной воркотней, со слезами матери, с чем-то скучным, неинтересным, не дававшим пищи для размышлений. Случись это раньше, он наверняка бы не обратил внимания на слова старой Жеребихи. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нем нельзя не думать, если говорят, нельзя не прислушиваться. И он слушал, смутные сомнения приходили в голову: «Тыщи лет люди в бога верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бога искал. Раз искал, значит, верил... Но почему теперь в бога верят больше старухи да старики? Бабка верит, а Парасковья Петровна нет... Парасковья Петровна умней бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Парасковьи Петровны умней был. Непонятно все...»

Жеребиха не могла знать, что у парнишки, прижавшегося к серому печному боку, глядящего на нее круглыми, остановившимися глазами, идет сейчас внутри лихорадочный спор. Она, суетливо облизнув обметанные губы, напевно, со вкусом продолжала, обращаясь к Варваре:

— Уж кому бы в голову пришло поинтересоваться, не зря же в разоренной церкви каждую ночь в одно и то же времечко, ну, истово в одно времечко, хоть по часам, хоть по петухам проверяй, пиление идет. Не господний ли это знак? Никому, лишенько, в голову не придет поприслушаться да на самих себя оглянуться. Ой, слепы люди! Ой, глухи... Ничего-то видеть не хотят, ничего слышать не желают. А господь остерегает, остерегает, да ведь и его терпению придет конец. Падет вдруг на людей кара божия, дождемся ужю мора или великого голода, поздно тогда будет каяться. Ох, Варюха, Варюха, онамятуйся! Перед чем голову сгибаешь, от чего отворачиваешься?

Варвара столбом стояла посреди избы, на белой широкой перепосице выступила испарина, глаза блестели, вот-вот из них брызнут слезы.

На крыльце послышались шаги, неспешные, уверенные, мужские. Вошел старик, снял с головы кепку, длинные космы седых волос упали на воротник. Жеребиха сорвалась с места, бойко застучала палкой по полу:

— Благослови, батюшко!

А из раскрытых дверей слышалось покорное оханье взбирающейся на крыльцо Агнии Ручкиной:

— Ноженьки мои...

Начали собираться гости.

17

Розовая от заходящего солнца, в стороне от села стоит церковь. Ее приветливый вид вместе с запущенной липовой рощицей, с галочьим хороводом над куполом был привычен, как вкус ржаного хлеба.

Эта вздыбленная над деревьями колоколенка со ржавым куполом луковкой, намозолившая глаза, связана с таинственным богом. Не от Жеребихи первой слышал Родька, что среди ночи, минута в минуту, кто-то пилит купол.

Врут, конечно...

А если нет?

Не ребячье любопытство, не досужая страсть к открытиям — Родьку раздирали сомнения: есть ли бог или нет его? В этом коротком вопросе был сейчас весь смысл будущей жизни. Никогда Родька не задумывался прежде, как жить ему. Жил, как живут все его гумнищинские одноплетки: учился в школе, летом пропадал на реке, ловил рыбу, купался в Пантюхином омуте, в жатву возил снопы на колхозной лошади, был горд, когда бригадир ставил ему за это «палку» — целый трудодень. Его ли забота, как жить... Мать с бабкой всегда поставят на стол чашку щей и крупно нарезанный хлеб, а большего Родьке и не надо. О чем, о чем, а о боге, о душе и думать не думал... Но теперь не увернешься от вопроса: есть ли бог?

Врет бабка, врет мать, врет старая Жеребиха! Нет бога!

А если не врут?.. Тысячу лет люди верили. Лев Толстой верил. А пиление в церкви по ночам?.. Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал. Теперь вот запала в голову, не выбьешь. Вот ежели б самому послушать?..

Стоит на отшибе церковь. Из чистой, словно умытой, рощицы (листва еще по-весеннему свежа) торчит колокольня, как древний воин в остроконечной шапке. Родькины зоркие глаза видят даже, как мельтешатся галки в воздухе. Там спрятана тайна, тревожная, пугающая. Врут или не врут?..

Как только начали собираться гости, Родька потихоньку сбежал из дому. Он давно уже сидит на задворках дома бабки Жеребихи, прячется от людей. Люди могут помешать думать, люди будут с ним заговаривать о другом, а ни думать, ни говорить сейчас, кроме этого проклятого вопроса, Родька ни о чем не может.

Как в жидкую тину, в лиловый туманный лес медленно погружается солнце; оно побагровело, раздулось от натуги. И от того дальнего леса, от края земли, от самого солнца через луга упрямо, не сворачивая ни перед чем, тянется железнодорожная насыпь. Давно уже показался на ней красный, впитавший в себя лучи тонущего солнца дымок. Он растет. Доносится шум поезда — ближе, ближе, сильнее, сильнее. На черном теле паровоза заблестело какое-то стекло, пропылало минуточку-другую остреньким, словно пробивающимся сквозь булавоочный прокол, огоньком, погасло. Товарные вагоны при закате кажутся раскаленными. Паровоз простучал через весь луг, таща за собой этот длинный раскаленный хвост, нырнул в решетчатую коробку моста, вновь выпрыгнул, пробежал дальше и скрылся за церковью.

В тишине неожиданно раздался выкрик:

— А вон Родька сидит!.. Эй, Родька!

Перевалившись животом через ветхую изгородь, подбежал Васька Орехов. На худеньком, с острым подбородком лице обычная радость: «А-а, вот ты где!»

— Что ты тут делаешь?

Родька не ответил, но Васька и не ждал ответа, он обернулся и закричал:

— Венька! Иди сюда, здесь Родька сидит! — так, словно это известие было бог знает каким подарком для Веньки Лупцова.

Венька не спеша подошел. Он хоть и помирился с Родькой, но и сейчас из-под черной, как воронье перо, челки глядел со спрятанной угрюмой настороженностью недобрый глаз.

— Что делаешь? — повторил Венька Васькин вопрос. — Галок считаешь?

— Тебе-то что?

— Да ничего. Из дому небось выжили?

В эту минуту Родьке не хотелось затевать ссору, он со вздохом признался:

— Терпения моего нету.

Эта покорность привела Веньку в мирное настроение. Он присел на землю рядом с Родькой.

Все трое долго молчали, уставившись вперед, на широкий луг с подрумяненными на закате горбами плоских холмиков, на тлевшую вдали колоколенку.

Первым пошевелился Родька, беспомощно взглянул на товарищей, спросил:

— Вот про церковь говорят, там вроде по почам кто-то купол пилит.

— Поговаривают,— согласился равнодушно Венька.

— Ты знаешь Костю Шарапова? — нетерпеливо заерзал Васька.— Трактористом в прошлом году здесь работал. Он, сказывают, по часам проверял. Ровно без десяти двенадцать каждую ночь начинается.

— Врет, наверно, твой Костя,— нерешительно возразил Родька.

— Костя-то!

Венька перебил:

— Я и от других слышал.

— Ну, а коли правда, тогда что это?

— Кто его знает.

Снова замолчали, на этот раз уставились только на колокольню.

— Нечистая сила будто там,— робко высказался Васька.

— Вранье! — обрезал Родька.— Бабья болтовня! Была бы нечистая сила, тогда и бог был бы.

— Но ведь Костя-то Шарапов в бога не верил, а я сам слышал, как он рассказывал, с места мне не сойти, если вру.

— И я что-то слышал, только не от Кости,— подтвердил Венька.

— Ребята! — Родька вскочил с земли, снова сел, взволнованно заглядывая то в Васькино, то в Венькино лицо.— Ребята, пойдете сегодня в церковь... Вот стемнеет... Сами послушаем. Ну, боитесь?

— Это ночью-то? — удивился Васька.

— Эх ты, уже с первого слова и в кусты. Ты, Венька, пойдешь? Иль тоже, как Васька, испугался?

— А чего бояться-то? Ты пойдешь, и я пойду.

— И то, не на Ваську же нам с тобой глядеть. Правду про него мать говорит, что на девку заказ был, да парень вышел.

— А я что, отказываюсь? — стал защищаться Васька.— Только чего там делать? Ежели и пилит, нам-то какое дело...

— Да ты не ной. Не хочешь идти с нами, не заплачем.

Родька неожиданно пришел в какое-то возбужденно-первое и веселое настроение. Венька Лупцов делал вид, что ему все равно...

В самой гуще ночи, в глубине села, отмеченного в темноте огоньками, ночной сторож Степа Казачок ударил железной палкой в подвешенный к столбу вагонный буфер — раз, другой, третий, четвертый... Удар за ударом — «дын! дын! дын!» — унылые и однообразные, они поползли над темным влажным лугом, через заросший кустами овражек, где, усталые от ожидания, сидели трое мальчишек, через реку, где под обрывистым берегом недовольно шевелилась весенняя вода, куда-то к железнодорожной насыпи и дальше, дальше, в неизвестность.

— Одиннадцать часов, — прошептал Родька. — Может, пойдем не спеша?

— Рано. Что мы в церкви-то торчать будем? — возразил Венька.

Васька Орехов как-то беззащитно поежился и притих.

Опять принялись ждать.

Венька глухим, утробным, страшным для самого себя голосом продолжал рассказ о том, как его отец когда-то ехал волоком между деревней Низовской и почином Шибаев Двор:

— Лежит он себе в телеге, а лошадь еле-еле идет. Он и поднимается. Дай, думает, подшевелю. Поднялся, видит, чтой-то на дороге светится... Присмотрелся: катится впереди лошади огонечек голубенький. Невелик сам, с кулак так, не больше...

— Ой, Венька, брось уж, и так зябко, — тихо попросил Васька Орехов.

— А ты побегай, погрейся, — предложил Венька. — Значит, огонек катится... А батька молодой тогда был, ничего не боялся. Дай, думает, шапкой накрою...

— Ладно, Венька, — оборвал его Родька, — Васька-то еле дышит. Оставь, завтра доскажешь.

— Связались мы с ним... Надо бы тебя, квелого, не брать с собой, — сердился Венька и добавил: — А мне вот все равно, какие хошь страшные рассказы слушать могу и нисколечко, ни на мизинчик, не боюсь.

— Ребята, я домой пойду. Mamka лупцовки даст, — попросил Васька.

— Я тебе пойду! — вскинулся Венька. — Вместе уговаривались. Ты убежишь, а мы останемся... Нашел рыжих! Так в переругивании и в приглушенной воркотне шло время.

Наконец Родька решительно встал:

— Идем!

Венька с Васькой неохотно поднялись.

Ночь была безлунная, три или четыре крупные звезды проглядывали в разных концах неба между набежавшими облаками.

Шли гуськом: впереди Родька, за ним Венька, сзади, прижимаясь к Веньке, наступая ему на пятки, семенил, спотыкаясь, Васька Орехов.

Тропинка была усеяна тугими, как резина, кочками прошлогоднего подорожника. Родька до боли в глазах вглядывался в темноту. Вот в нескольких шагах, прямо на тропинке, замаячило что-то живое, волк не волк, выше волка, шире волка, страшнее волка, сидит и ждет... Сердце начинает тяжело бить в грудь, звон стоит в ушах от бросившейся в голову крови. Шаг, еще шаг, еще... И тропинка огибает невысокий кустик, он не выше волка, он не шире волка, до чего же жалок вблизи, так себе, пара искривленных веточек. К черту все страхи!

К черту?.. А что там в стороне? На этот раз ошибки быть не может: кто-то в темноте шевелится на самом деле. Слышно даже, как переступает с ноги на ногу, не ждет, само идет навстречу — большой, неясный сгусток ночи. Оно может и растаять в черном воздухе, может и навалиться на тебя удушливым облаком... Раздалось фырканье... Ух! Это лошадь! Уже выпустили пастись, рановато вроде, трава чуть-чуть выползла.

Знакомую до последней кочки землю покрыла только лишь темнота, и знакомая земля стала непонятной, пугающей.

Родька шагал, вглядывался вперед, и в эти минуты он готов был верить во все: в нечистую силу, которая в любую минуту может вывернуться из-под ног, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба. И все-таки он шел вперед, и все-таки он должен был проверить, сам узнать, услышать своими ушами, иначе не будет его душе покоя.

— Ой! — раздалось сзади слабое восклицание.

Родька и Венька, толкнув друг друга, повернулись к Ваське Орехову.

— Ты что?

— Ногу подвернул. Дальше не пойду.

— Так мы тебе и поверили. Только что целехонька нога была.

— Скажи прямо: душа в пятках.

Васька перестал стонать.

— А неужель не страшно?..

— Вставай! — схватил его за воротник Венька. — Или силой потащим.

— Тащите не тащите, не пойду. Я вам правду говорю: нога подвернулась.

— Мы тебе живо ее вылечим. — Венька сильнее тряхнул Ваську. — Ну, долго возиться?

— Пусти-и! Не пойду, сказал же.

— Ладно, Венька, черт с ним, пусть здесь остается, — зашентал Родька. — Провозимся с ним, опоздаем. Времени и так нету.

— Мокрая курица ты, не товарищ. Треснуть бы по шее разок. Сиди тут, коли так.

Родька и Венька плечо в плечо двинулись дальше. Венька еще поругался немного и замолчал. Уж слишком был страшен и неприятен собственный голос в этой мертвой тишине.

Они приближались к церкви, но по-прежнему впереди ничего не было видно. И лишь с напряжением, до боли вглядываясь в темноту, можно было не столько увидеть, сколько ощутить впереди себя кирпичную громаду, закрывающую полнеба.

А вокруг церкви — кладбище. Оно старое, заброшенное, давно уже не хоронят на нем покойников. Но кому не известно: чем заброшенной кладбище, тем скорей можно ждать на нем всякой нечисти.

Венька остановился.

— Родька! Слышь, Родька...

— Чего еще? — приглушенным шепотом спросил тот.

— Васька-то небось домой побежал.

— Ну и что?

— Он дома будет сидеть, а мы, как проклятые, в эту церковь полезем.

— Тоже струсил?

— Не струсил, а дурее Васьки быть не хочу. Больно мне нужна эта церковь. Пропади она пропадом, плевать на нее!

— А зачем тогда пошел?

— Да ни за чем. Ежели б вместе, а то вон Васька-то...

Родька вдруг почувствовал, какое это несчастье остаться вдруг одному в этой тишине, среди влажной ночи. Одному перешагнуть за церковную ограду, одному пройти мимо старых могил, одному влезть в церковь, одному там ждать... Это невозможно! Лучше отказаться, повернуть домой. Повернуть?.. А завтра опять гляди на церковь, мучайся, думай, как бы попасть в нее. Все равно придется рано или поздно опять идти. Нельзя отпускать Веньку! Нельзя оставаться одному!

— Венька, мы уже ведь пришли... А Васька что?.. Васька же — дурак, трус, девчонка... Мы еще посмеемся вместе...

— Не пойду, и шабаш... Хочешь, повернем вместе, не хочешь...

— Венька! Только поверни, я тебе опять юшку пушу.

— Тоже мне — юшку! Мало, видать, попало сегодня от Парасковьи Петровны.

— Пусть попадает. Сейчас набью, завтра набью, каждый день бить буду.

И быть бы драке в полночь у старой церкви, если б в темноте за спинами ребят не послышались торопливые, спотыкающиеся шаги и прерывистое дыхание. Оба забыли про драку, обернулись, прижались друг к другу.

— Родька... Венька... Это вы? — появился Васька, едва переводивший дыхание от быстрой ходьбы. — Одному-то еще страшнее, — заговорил он прерывистым шепотом. — Просто жуть одному-то... Уж лучше с вами...

Дрожавший, просящий Васькин голос виновато оборвался. С минуту все стояли неподвижно. Без шелеста листьев, без коростельевого крика облила их плотная темнота.

Родька первым опомнился.

— Пошли, — сказал он не шепотом, а вполголоса и повернулся к церкви.

Васька, споткнувшись, поспешно бросился за ним. Последним двинулся Венька.

Они вошли в широкие ворота церковной ограды.

В глубине белела, как мутный туман ночью на реке, стена церкви. Они остановились под деревом.

Родька достал из кармана бересту, поднял с земли из-под ног сухую ветку, спросил:

— Васька, спички у тебя?.. Сейчас бересту запалим. При огне-то лучше.

Васька зашептал:

— Не надо, Родька. Так-то нас никто не видит. А как огонь, всяк узнает: мы здесь.

— Давай спички, говорю!

Две руки — Васькина и Родькина — не сразу столкнулись в темноте. Одна спичка сломаясь, вторая долго не зажигалась. Наконец зажглась слабеньким, болезненным огоньком — единственно светлая, родная точка в этой подвальной темноте.

Скрюченный, грубый кусок бересты зашкворчал, запузырился, как живой, стал сгибаться. Родька надел его на конец ветки. И из темноты рядом с ними появилась боковина ствола матерой липы в буграх и корявых наростах. Впереди, под ногами, открылась замусоленная кирпичной крошкой земля. Огонь шевелил веселыми языками, пускал темный чадок, без всякой утайки фыркал. И страх почти исчез. Родька, Васька, Венька — все разом вздохнули, переглянулись между собой, снова усталились на огонь.

Но по сторонам темнота еще гуще облила раздвинутый горячей берестой круг. Не стало видно церковной стены. Казалось, эту плотную, могучую темноту ничем не сдвинешь, ничем не пробьешь, не выберешься из светлого круга. Но Родька, бережно держа на весу ветку с корчащейся берестой, шагнул вперед, и эта плотно слитая темнота покорно подалась назад. Липа с корявой корой сразу же исчезла, словно провалилась под землю. Навстречу выскочила тоненькая, с игривым изгибом березка, сразу же лихорадочно зарумянилась от света.

Еще два шага, и свет уперся в стену, вовсе не белую и ровную, а облупленную, с осками кирпичей в обвалившейся штукатурке.

В стене — окно, непроницаемо затянутое бархатной темнотой. Что-то там? Мороз пробирает от мысли, что придется схватиться за кирпичный карниз, подтянуться и... окунуться головой в эту мрачную, бархатную тьму.

— Венька, держи, — отдал Родька берестяной факел. — Осторожней, бересту стряхнешь... Васька, подсади-ко... Что ты меня за грудки держишь? Плечо, плечо подставь... Вот так...

Родька сел верхом на подоконник. В выползшей из штанов, пузырящейся на спине рубахе, всклокоченная голова ушла в поднятые плечи, освещенный неровным,

пляшущим огнем на бархатно-черном фоне арочного окна, он сам теперь походил на какого-то зловещего горбуна из страшной сказки.

— Да... давай сюда огонь.

Венька медлил: охота ли лезть в это проклятое окно, а уж если отдашь огонь, придется.

— Ну! — это «ну» было сказано слишком громко и гулом отдалось в пустой церкви за Родькиной спиной.

Венька поспешно протянул горящую бересту.

— Что ты в меня огнем тычешь? С другого конца давай... Подсаживай Ваську.

Из окна, из черной пропасти тянуло подвальными запахами плесени и птичьим пометом. Родька первым прыгнул туда, и в это самое время огромная, пустая, темная церковь загудела, забурилась, словно ее старую крышу пробил бешеный водопад. Снизу донесся слабый, заикающийся голос Родьки:

— Не-не... не... бойтесь... Это галки... Ух, сколько их тут!

Огонь осветил кусочек стены, на которой проступали какие-то картины, прислоненные к стене иконы, битый кирпич с блестками стекла на полу. Все остальное — вверху и по сторонам — было покрыто густым мраком.

Родька мельком поглядел на иконы, подумал вскользь: «Гляди ты, какие красивые есть. И чего те дурни на мою икону набросились, вроде она лучше...»

— Вы скоро там?

Венька и Васька слезли вниз, сдерживая дрожание губ, с бледными лицами стали рядом.

Вяло покачивался огонь на обугленной бересте, запах смолистого дыма смешивался с запахом каменной плесени. Вверху все еще шевелились неуспокоившиеся птицы. Путь был пройден, оставалось только ждать.

— Сколько... — заговорил Родька и сразу же снизил голос до шепота, так как неосторожно произнесенное слово сразу же отдалось где-то под самым куполом. — Сколько времени теперь?

— Кто его знает, — так же шепотом ответил Венька. — За двенадцать, поди.

— Не слышно, не било вроде.

— Да отсюда разве услышишь, сквозь стены-то?

— Услышали бы. Окна-то полые.

Они на минуту перестали шептаться. Под темной крышей, высоко над головой, разбуженные птицы успокаивались. Пошевелилась одна в самом глухом, в самом дальнем

углу, пошевелилась другая поближе, столкнула кусочек сухой известки, он легонько стукнулся об пол, звук его отозвался под куполом. Наконец стало совсем тихо. Тонкотонко и тоскливо зазвенело в ушах от перенапряженной тишины.

— Враки все, — выдохнул Родька.

— Что враки? — одними губами спросил Венька.

— Да это... Купол-то будто пилят.

— Конечно, враки, — с охотой подхватил Васька. — Пошли, Родя, быстрее отсюда, чего тут торчать.

Родька не ответил.

Береста на конце ветки прогорала. Желтый огонек стал вялым. Черный курчавый дымок над ним вился гуще. Лица у ребят были бледные, серьезные, непривычно большеглазые.

Родька ощутил облегчение, появилось какое-то смутное, неосознанное желание: высказать что-то (пока он не знал, что именно) презрительное и уверенное бабке с матерью, обругать Жеребиху.

Родька набрал уже в грудь воздуху, чтоб еще раз сказать: «Враки все...» — но вдруг воздух застыл в груди ледяной глыбой, горло сжалось...

Где-то вверху, в самой гуще давящего на головы мрака, там, где недавно шевелились обеспокоенные птицы, очень тихий, но внятный, осторожный, но проникновенный, раздался странный звук. Он действительно напоминал звук маленького напильника, въедливо, настойчиво точившего кусок железа. Звук разрастался, креп, становился громче, решительнее. Уже не крохотный напильничек, а широкий рашпиль поспешно, без предостережений, с ненавистью ерзал по железу. Сильней, сильней, нервней, до истерических, визгливых ноток.

И звук шел не снаружи, он был где-то в стенах, под самой крышей, висел над головой. Странно, что птицы несколько не обращают на него внимания.

Неожиданно загрохотало, завизжало — нарастающий звук взорвался. Ошеломленный Родька в долю секунды каким-то далеким уголком своего мозга все же успел догадаться: это рядом с ним в пустой гулкой церкви визгливо крикнул от страха Васька.

Они не помнили, как выскочили в окно, как оказались за церковной оградой...

А ночь по-прежнему стояла тихая, влажная, свежая. Покойно светились редко разбросанные огоньки села. В стороне уверенно и беспечно постукивали колеса удаляю-

щегося поезда. Три красных фонарика на заднем вагоне унывали в темноту. Это, должно быть, пассажирский. Он через пятнадцать минут остановится на маленькой станции Суховатка, куда летом Родька и Васька бегали продавать ягоды.

Нет, ничего не произошло на свете. Ровным счетом ничего.

«Дын! Дын! Дын! Дын!..» Через влажный луг, через реку на железнодорожную насыпь поползли унылые звуки. Ночной сторож Степа Казачок отбивал двенадцать часов.

Ребята не обмолвились ни единым словом. Спотыкаясь на неровной тропинке, бросились бегом к селу...

Перед самым селом их встретила беспорядочная, громкая петушинная перекличка.

20

Опять весь вечер сидели гости. Беременная Мякишиха, прислонясь к Варваре, уставив на нее раскисшие от слез глаза, шептала:

— Варварушка... Навар из трав пила, а веры нету. Нету веры, что все обойдется. Врачи сказывают: не людская-де у тебя беременность... Сечение надо делать, резать.

Скучно вздыхала о своих ноженьках Агния Ручкина. Старик из деревни Заболотье, большой знаток Ветхого завета, курил толстые сигарки из крепкого самосада, давил их в разбитом блюде и рассуждал о «нонешней распущенности»:

— В прежнее-то время вся жизнь, куда ни толкнись, в страхе проходила. Оттого кругом порядок стоял...

Отец Дмитрий больше молчал, кивал головой, соглашался, только несколько раз вставил свое слово:

— Ежели человек отравлен ядом, чтоб он не умер, надо очистить тело. В жизни душа ежедневно и еженощно яд принимает. Выругался нехорошим словом — яд. Осквернил себя водкой — яд. Строптивость свою выказал, начальству не подчинился — все яд. Вера очищает душу людей. Нет без веры духовного здоровья.

И снова замолкал, с ясным, чуть утомленным лицом покачивал головою, думал, верно, о чем-то своем.

Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гос-

тях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Парасковьи Петровны, после разговоров с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Часто поздний, и где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы полезли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышленому парнишке выносить... Не напрасно учительша пугает, ой не напрасно! Как же парню быть? От школы отворачиваться?.. Господи, вразуми... То-то и оно, что ни случись, всюду — господи, а ведь Парасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает...»

Разболелась голова. Варвара тихонько поднялась, ушла за перегородку, не раздеваясь, прилегла на койку. Сдержанно гудели голоса в соседней комнате...

Ее разбудили сердитые толчки.

— Вставай-ко, вставай. Эк, разлеглась... Забыла, чай, что у нас отец Митрий ночует. Не на полати же его сунут.— Старая Грачиха раскосмаченная, придерживая на груди рубаху, стояла над ней.— А нашего-то гулены до сих пор дома нету. Выходила на улицу, кликала, не отзывался. Клавдию встретила, тоже своего Ваську ищет. Вместе где-то шабашат.

Выглянула за переборку, пригласила:

— Иди, батюшко, постельку сейчас стготовлю.

Варвара поднялась, заспанная, с тяжелой головой, вышла в переднюю.

Изба хранила следы недавних гостей: пол у порога крепко затоптан, на подоконнике щербатое блюдечко усажено окурками.

Тяжело и неуютно стало в доме. Покоя и тишины хочется. Ей-то еще полбеды, а Родьке, верно, вдвое неуютней.

Кряхтя и посапывая, за перегородкой укладывался на пригретую Варварой постель отец Дмитрий. Бабка торопливо отбила положенные поклоны, взобралась на печь. Через минуту, как обычно, полился оттуда ровный храп.

Каждый вечер опускалась Варвара на колени перед иконами, опустила она и сейчас.

Что сказать господу? Как пожаловаться? О чем просить, что вымаливать? Как держать себя? Все перепуталось, ничего не понятно. Одно слово вырывается из души:

— Господи!!

Словно вполшепота, но это крик измученного сердца, крик жалобный и бессильный.

За спиной раздался осторожный шорох. Варвара оглянулась. У дверей стоял Родька. При свете гаснущей лампы было видно его бледное, смятенное лицо.

Варвара медленно поднялась с полу.

— Родюшка... Ай опять беда какая?

Родька резко дернул плечом, словно сбрасывал с него невидимую лямку, связанной походкой, уставясь в угол, прошел на середину комнаты мимо матери. С минуту он глядел в упор на темную икону, потом колени его подогнулись, он вяло осел на пол и, съезжившись, пригнув голову, неожиданно зарыдал.

— Родюшка, сердешный, да что с тобой, золотце? — Варвара бросилась рядом с ним на пол, обняла, сама заплакала. — Видать, снова напасть какая. Да что за наказание! Что там случилось-то, скажи?

Но Родька молчал, только плечи его под материнскими руками сильно вздрагивали.

От молчания, от слез сына, от чудотворной, зловеще выкатившей белки глаз, от всего непонятного, что творилось на белом свете, Варвару охватил дикий ужас. Новая беда! Новые несчастья! Мало прежних?! Надо спасать сына, надо оградить его от беды!

Варвара крепче обхватила Родьку за вздрагивающие плечи, приподняла, шипящим шепотом заговорила:

— Молись, Роденька, молись, сынок! Проси прощения за себя, за мать-грешницу. Сомнениям поддалась мать-то... Ох, разнесчастные мы!.. Нет нам спасения... Молись, голубчик...

И случилось чудо... Родька, вечно бунтующий, упрямый, только из-под палки поднимавший ко лбу руку, вдруг со всхлипом вытер лицо рукавом, покорно зашевелился, встал коленями на пол, упершись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произнес единственную молитву, которую знал, короткую, в два слова:

— Прости... господи...

Он крестился, лицо его выражало просительный страх, а Варвара, тоже стоявшая рядом с ним коленями на полу, застыла от изумления и нового ужаса. Вот оно, свершение! Вот она, сила божья! Как же тут сомневаться в господнем могуществе?

Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать.

У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманской с золотым крабом, всем своим морским обличьем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку — вот он Родька Гуляев, приехавший домой на побывку! Пусть это была по-детски наивная мечта, но мечта о будущем. А в детстве будущее и счастье — одно и то же слово.

Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придется молиться, когда ты нашел святую икону, когда за тобой следит сам бог; ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.

Нет будущего, значит, нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку, — *самому отказаться!* Это тебе не крест на шею, это не просто стыд перед ребятами, который раньше так сильно мучил. Тогда-то страдал, а знал, пройдет день, неделя, месяц, пусть даже год — и все паладится, все переживется. Теперь не надейся на время, оно не спасет. Тогда можно было бунтовать, возмущаться, жаловаться кому-то, хотя бы Парасковье Петровне. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!

Утром дома готовились к молебну, и бабка не отпустила Родьку в школу.

— Не каждый день молебны заказываем в честь новоявленной. Родька, чай, не лишний человек в этом доме. Школа не сгорит, коли он там день не побудет.

Родька молчал, не глядел, как прежде, упрямым бычком в пол, лишь тоскливо озирался. И мать испугалась его покорности, робко и неуверенно возразила:

— Как бы шума не выпло...

— То-то вы все боголюбые. — Бабка веником, насажен-

ным на длинную палку, обметала паутину с потолка. — Милости у бога выпрашиваете, а огласки боитесь. А вы не бойтесь за господу шум на себя принять. Спасете, ежели и поругают маленько.

Родька молчал. Он молчал и тогда, когда бабка отозвала его в соседнюю комнату, роясь в коробке среди пузырьков и катушек, сердито зашипела:

— Крест-то бросил? Думал, не узнаю, печестивая твоя душа? Говори спасибо, бог уберег. Ради такого дня вывочки не получишь. Народ собирается, срам на люди не хочу выносить. Вот тебе другой крестик. Ну-ко, одевай живо да не кобенясь.

Шершавые пальцы бабки расстегнули ворот рубахи, твердая ладонь тычком по затылку заставила нагнуть голову. Шнурок крестика зацепился за ухо, бабка грубо его поправила.

Начали мыть пол, и Родька решил выйти во двор. Но когда он ступил из дверей на крыльцо, понял: лучше бы не показываться из дому.

Пошевеливая вздыбленными плечами, пробив пригнутой головой скучившихся баб, подполз к крыльцу безногий Киндя. Шапки нет, лицо распухшее, сизое, из-под заплывших век — не понять, враждебно, равнодушно или заискивающе — уставились сквозь щелки неподвижные глаза. Он, закинув назад голову, набрал в широкую грудь воздуха, казалось, вот-вот разразится длиннейшей речью. Но Киндя выдохнул лишь одно слово:

— Бла-ослови! — после чего, держась за утюжки, принялся кланяться, касаясь лбом земли, выставляя локти, как кузнечик лапки.

Сморщенный старичок из Заболотья, тот, что знал Ветхий завет, сплюнул и отвернулся:

— Нехристь. С утра нализался... Нашел время.

В надвинутом на глаза платке подскочила мать Кинди, ткнула тощим прокаленным кулачком в налитый кровью сыновний загривок, заговорила с визгом:

— Сгинь, бесстыдник! Сгинь, окаянное семя! Выполни зверь зверем, за мать бы посовестился.

— Бла-ослове-ния хочу, — промычал неуверенно безногий Киндя и опять повалился лбом в землю.

— Кинька! Один останешься. Уйду, мотри! — уже без визга, с угрозой проговорила старуха. — Какое тебе благословение, дурья баншка? Ведь на малом свяченого чина нет.

Киндя помедлил, широкий, плотный, крупноголовый,

по плечо тощей низкорослой матери, вздохнул и боком стал отодвигаться в сторону.

— Ты, голубок, не пужайся. Идем к нам. Покудова там готовятся, посидим рядком, потолкуем ладком.

Из-под платка, козырьком напущенного на лицо, щупали Родьку выпрыгивающие вперед глаза, костистая рука бережно и в то же время твердо взяла за локоть, свела Родьку с крыльца.

Сидевшая прямо на земле, широкая, как созревший от непогоды суслон, Агния Ручкина зашевелилась, попробовала было подняться навстречу Родьке, но не сумела, лишь тоскливо вздохнула:

— Ох-ти, мои ноженьки...

Но из-за Ручкиной выросла закутанная в длинную шаль Мякишиха — глаза выкаченные, сухо блестящие, тонкие губы бесцветны.

— Миленький! — схватила она Родькину руку, припала к ней сухими горячими губами.

Родька с силой выдернул руку, рванул локоть из костлявых пальцев Киндиной матери, затравленно оглянулся. И тут же его взгляд упал на дорогу. К изгороди размашистым шагом приближалась Парасковья Петровна.

В своей неизменной вязаной кофте, легкий платочек туго стягивает прямые черные волосы, на лице будничная озабоченность и знакомая школьная строгость, она так не походила на тех, кто стоял сейчас во дворе, так обычна, так знакома — человек из другой жизни, родной и утерянной для Родьки.

— Родя, ты почему не пошел в школу?

И Родька в эту минуту представил самого себя, словно бы посмотрел со стороны глазами Парасковьи Петровны: в чистой, праздничной рубаше, стянутой пояском, смоченные волосы гладко зачесаны бабкиным гребнем — вот он, ученик из ее класса, среди старух, беременных баб, в компании с пьяным Киндей и Агнией Ручкиной, квашней сидящей на земле. Это был позор. Это был конец. Худшего уже нельзя было представить.

— Родя, я спрашиваю: почему ты не в школе?

Все, кто был во дворе, молчали, с подозрительностью глядели на учительницу. Парасковья Петровна не обращала на них внимания, мягко и спокойно устала на Родьку.

И Родька, издерганный за последние дни, измученный кошмарной ночью, не выдержал, схватился за голову, за-

топал ногами, неожиданно осипшим, громким голосом закричал:

— А-а-а!.. К че-ерту-у! Всех к черту-у! Уходите! Все уходите! Все!!

После первого же выкрика в окружавшей его толпе поднялся недовольный ропот:

— Небось на дом пришла.

— Мало ли там шелапутных, которые запросто из училища убегают.

— За теми не следят. Не-ет.

Родька с багровым лицом топал ногами, кричал:

— Уходите! Уходите! Уходите!!

— Родя, пойдем отсюда,— не обращая внимания на враждебный ропот, мягко позвала Парасковья Петровна.

Но Родька не слышал, его крик оборвался, он, оскалившись, оглядывался кругом и затравленно вздрагивал от рыданий.

Киндя, раздвигая плечами старушечьи подолы, пробрался к самой изгороди, задрав опухшую, кирпично-красную рожу, сипловато заговорил базарной скороговорочкой:

— Ты, мамаша, извиняюсь... Иди, мамаша, своей дорогой. Не то я, человек изувеченный, за свою натуру не отвечаю...

Парасковья Петровна сначала с удивлением, потом с брезгливостью секунду-другую разглядывала сидящего на земле Киндю, отвернулась, обвела взглядом старух, буравящих ее из-под чистых платков выцветшими глазами, снова обратилась к Родьке, кусающему рукав своей рубахи:

— Успокойся, Родя. Идем отсюда.

Но Киндя снова угрожающе зашевелил поднятыми плечиками:

— Ты, мамаша, слышала? Я в переглядки играть не люблю.

Давно не стиранный рукав рубахи распахнута на груди, на распаренной физиономии — ржавчина щетины, из заплывших век глаза враждебно сторожат каждое движение учительницы. За ним, широким, плотным, наполовину вросшим в землю, сбились в кучку старухи в празднично белых платочках, старик из Заболотья по-гусиному сердито вытянул жилистую шею, судорожно ежась, мальчишка прикрывал рукавом рубахи застывший оскал на лице.

На минуту стало тихо. С шумом дышал задравший вверх голову Киндя. Парасковья Петровна, сурово выпря-

мивающаяся, с плотно сжатым ртом глядела поверх Киинди на Родьку.

Никто не двигался, все ждали.

Парасковья Петровна первая пошевелилась. Она шагнула вдоль изгороди к въезду во двор. Без знакомой сутуловатости, распрямившаяся, с бесстрастным лицом, не замечая с угрозой подавшегося на нее всем своим коротким телом Кииндю, Парасковья Петровна шла, не спуская взгляда с Родьки.

И Кииндю взбесила ее бесстрастная уверенность. Без того красная физиономия до отказа налилась темной кровью, сильная, площадная брань загремела над залитым солнцем двориком. Тяжелый, обшитый кожей утюжок-подпорка полетел в учительницу...

Кииндя промахнулся. Утюжок с силой ударил в изгородь, жердь глухо загудела.

Парасковья Петровна резко обернулась. В ее широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жесткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжелую голову, силло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, неменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Парасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжелым шагом пошла прочь. Никто не двинулся, никто не обронил ни слова. Только Кииндя тряс кулаком над головой, выкрикивал вслед ругательства.

Родька опомнился, увидел перед собой запавший, морщинистый рот Кииндиной матери, с яростью толкнул ее в тощую грудь, бросился в сторону, налетел на сидящую Агнию Ручкину. Та, охнув, свалилась на бок.

Чья-то рука пыталась его задержать, он с остервенением ударил по ней. Оскалась, с мокрым от слез лицом выскочил на улицу, бегом бросился по дороге,— прочь от дома, прочь от страшных людей.

22

Через полчаса он сидел дома у Парасковьи Петровны. Небольшая, оклеенная веселыми обоями комнатка была заполнена солнцем. От узкого стола, заваленного книгами и стопками тетрадей, от окна, за которым выбросила нежные оборчатые листочки смородина, от монотонного тиканья темных, старинных часов ложился на измученную Родькину душу сонный покой. Здесь бы жить, не надо ни

бескозырок с ленточками, ни тельняшек, читать бы эти книги, рыться в тетрадах — счастливо живет Парасковья Петровна!

С опухшим от слез лицом, подавленный, вялый, Родька рассказывал о церкви, о непонятном, страшном звуке среди ночи под куполом, постоянно повторял одну и ту же фразу:

— Раз про церковь они не врут, значит, и про бога тоже...

Парасковья Петровна без своей примелькавшейся вязаной кофты, в платице мелким горошком, полная, невозмутимая, уверенная, слушала без всякого удивления, наконец покачала головой:

— Эх-хе-хе. Как ты доверчив. История с церковью — старая песня. Лет двадцать назад я сама лазала слушать это, как его там называют, пиление...

— А что это?

— Надо было самому и дознаться до конца. А то сразу в чудеса поверил.

— Но что?

— Недалеко от церкви, как ты знаешь, проходит железная дорога. Когда мимо идет поезд, звук от его колес попадает в церковь и отдается под куполом. Такое явление в физике называют резонанс. Каждую ночь мимо церкви проходит в одно и то же время пассажирский поезд. Значит, каждую ночь в одно и то же время раздается звук, который ты слышал. Но чтоб его услышать, не надо даже лазать ночью. И днем ведь поезда ходят... Понятно тебе?

— Резонанс, — повторил Родька.

Он вспомнил три красных огонька, уходящих в ночь, спокойный стук колес, припомнился и самый звук под куполом. Если разобраться, этот звук действительно смахивал на шум приближающегося поезда, сначала тихо, издали, потом ближе, громче, только визгливей... Вместо радости и облегчения, что все так просто объяснилось, Родька почувствовал страшную усталость и равнодушие. Мучился, ночью не спал, даже молился, а из-за чего?.. Тошно теперь думать об этом, тошно вспоминать.

— История эта забывалась, — рассказывала Парасковья Петровна, — потом опять о ней начинали говорить. Только одни старухи все верили, что она связана с нечистой силой... Э-э, да ты, братец, не слушаешь?

— Я домой больше не пойду, — заявил Родька.

— А я тебя и не отпущу. Поживешь денек-другой у меня, пока мы все не уладим. Я сейчас уйду в школу, освобожусь от уроков и отправлюсь в Загарье, в райком партии. Поговорю начистоту.— Парасковья Петровна поднялась.— Есть захочешь — суп в печке, достань сам. Захочешь погулять, иди. Ключ под дверью положишь. А то книжки читай...

Она ушла.

Родька знал, что муж Парасковьи Петровны, тоже учитель, давно, еще до войны, когда его, Родьки, еще не было на свете, попал с лошадьё в полыньё, простудился и умер.

Парасковья Петровна жила одна в своем домике, по хозяйству ей помогала тетя Глаша, школьная уборщица. Иногда Парасковья Петровна брала себе на квартиру какую-нибудь молодую учительницу, жила с ней до тех пор, пока та не выходила замуж.

В пустом доме одному Родьке стало тоскливо. Он походил из комнаты в комнату, пощупал руками книжки на полках, но взять их постеснялся.

Родька лег на узенький диванчик, закинул руки за голову и стал разглядывать веселый узор на обоях. Лежал час, лежал два часа, арестант не арестант, а вроде этого. Лежал и думал об одном — об иконе.

Его потревожил осторожный стук в дверь. Он испугался, что войдет кто-нибудь из учителей. Будут расспрашивать, сочувствовать, качая головой... Он выглянул в соседнюю комнату и увидел, что в дверь бочком вошла его мать, испуганная, постаревшая, со страдальческой синевой под глазами.

— Родюшка, — горестно и виновато произнесла она. — Ты здесь, сокол?.. Я все село избегала, все кругом обрыскала...

Боровски оглядываясь, она робко подошла, осведомилась шепотом:

— Нет хозяйки-то?

И когда Родька тряхнул в ответ головой — нет, вздохнула свободнее.

— Идем, голубь, домой! Идем!.. Молебен-то давно кончился, все ушли. Тишина теперь дома, слава тебе господи! Идем, горюшко мое!..

Она заплакала, и Родьке стало жаль ее.

Почему ему нельзя жить с матерью и бабкой, как живут все ребята? Что мешает?.. Проклятая икона! Ведь до нее все шло хорошо.

Она припомнилась ему со всеми подробностями: с черным лицом, разделенным длинным и узким носом, с яркими глазными яблоками, с крохотным огоньком лампадки возле бороды. Как он ее ненавидит! И бабуку ненавидит и мать — вцепилась в икону, нет чтоб отдать Жеребихе, обрадовалась игрушке. А эта игрушка всю жлзнь ему поломала! Всю! Чужие люди жалеют, а ей наплевать! На доску променяла!..

Не только из-за одной истории с Родей Гуляевым решилась Парасковья Петровна побывать в райкоме партии. Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время все чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылева уехала из Гумниц в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что Фрося «снялась с учета». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьез поговорить в райкоме.

Шел сев, и нечего было рассчитывать, что колхоз даст лошадь. Начавшее подаваться к закату солнце крепко припекало. Плащ пришлось снять и перекинуть через руку. Пахло прелой листвой, вылежавшей под снегом хвоей, пахло весенним травянистым гниением, обещающим не умирание, а обновленную жизнь. Парасковья Петровна шагала тысячу раз исхоженной дорогой, возле которой были знакомы каждая елка, каждый пенёк. Тридцать лет по этой дороге носила она свои заботы. Постарела, ссутулилась, голова усыпана сединами, и опытнее стала, и умнее — изменилась, только заботы остались прежними. Возможно, по этой же дороге она носила заботы о Родькиной матери. Учись, старый педагог, на просчетах! Не допусти, чтоб Родя Гуляев вырос похожим на свою мать!..

За спиной Парасковьи Петровны послышался стук копыт о влажную землю. Она подалась к обочине, обернулась. Весело взбрасывая сухой головой, украшенной от челки к носу белой проточиной, приближалась легкой рысцой лошадь. Она поравнялась с учительницей, и человек, сидевший в пролетке, натянул вожжи:

— Тпру-у!

В мягкой, крепко надетинутой на лоб кепке, в брезентовом плаще, в каких обычно ездят районные уполномоченные, седая бородка растрепана встречным ветерком, возвышался в пролетке отец Дмитрий.

— Издалека вас приметил, Парасковья Петровна. Вы не в Загарье? Разрешите просить об одолжении — подкинуть вас до места.

Коляску потряхивало на выбоинах. Весело бежало вдоль дороги еловое мелколесье. Отец Дмитрий вежливо посапывал, ждал, когда Парасковья Петровна первая начнет разговор, не дождался, заговорил сам:

— К великому сожалению, узнал, что вас утром обидел этот пьяный инвалид. Не судите его строго, он достоин скорей жалости, чем осуждения.

— Я незлопамятна.

— Вообще-то народ здесь не испорченный, добрый, гостеприимный. Один порок — упрямы чрезвычайно.

— Упрямы? В чем? Не замечала.

— А вот хотя бы настаивают, чтоб я хлопотал об открытии возле Гумниц храма. Никаких возражений не хотят слушать.

— А вам разве мешает этот храм?

— Нет. Я служитель церкви, и было бы грешно лукавить, что не желаю открытия еще одного храма.

— Тогда вы должны быть довольны их упрямством.

— Вся беда, что теперь открытие храма Николая на Мостах невозможно. Не дадут разрешения. Вот если б, скажем, этот храм был занят под склад или зернохранилище, тогда другое дело. Я, конечно, не присягнул бы за удачный исход, но хлопотать было бы куда легче.

— Почему? — удивилась Парасковья Петровна. — Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, ее труднее освободить.

— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется, вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих.

И не в первый раз за их короткое знакомство Парасковья Петровна с удивлением взгляделась в этого человека. Уткнув бородку в грубый воротник плаща, держа на коленях вожжи своими старческими, со вздувшимися венами руками, он всей своей плотной фигурой выражал скромное достоинство.

Это не только божий агитатор, во славу господз действует не одними молитвами. Гумнищинский колхоз, который уже год не соберется поставить новый клуб, сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарем сельсовета, а тут сколько вам нужно: сто тысяч, двести, триста — пожалуйста, не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтоб не бегала за двенадцать километров ко всенощной, имела храм под боком, без особых хлопот несла туда своим трудом и экономией добытые пятаки.

Отец Дмитрий незаметен, районные власти не прорабатывают его на заседаниях, не привлекают к общественным нагрузкам, живет себе, ворочает делами, ублажает верующих, себя не забывает. Вот он — кепчонка мятая, плащ дешевый, а пролетка новая, лошадь сытая... Загарьинское роно, государственное учреждение, не может выхлопотать себе лошадь, школьным инспекторам приходится бегать в командировки пешком.

Молчание Парасковьи Петровны, должно быть, настрожило отца Дмитрия. Он, повернувшись на тесном сиденье всем телом в сторону учительницы, снова заговорил с интонациями интимной душевности:

— Есть вечная, как мир, истина, Парасковья Петровна: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. Вы это делаете по-своему, а я — по-своему, как могу.

— К чему вы это?

— К тому, Парасковья Петровна, что чувствую некоторое недоброжелательство ко мне с вашей стороны.

— Разве оно вам мешает?

— Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Не скрою, среди пышных священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть и просто недалекие, необразованные, без особых идеалов. Но есть и такие, кто всю душу отдает служению добру. Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но, если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?

Это был уже вызов на откровенность, и Парасковья Петровна решила его принять.

— Потому и возмущает, что вы пытаетесь добрые чувства вызывать именем бога, именем Христа.

— А не все ли равно, Парасковья Петровна, через бо-

га или через что другое вызываются добрые чувства? Лишь бы они появились.

— Нет, не все равно. Как там в Библии сказано, если память не изменяет: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожанья и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни.

— Как же это мы отнимаем? Помилуйте! Пусть люди пахут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла.

— В страхе... Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плетка? Почему вам кажется, что все доброе, все хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого? Я педагог, и я знаю, что нельзя воспитывать детей запугиванием. Вы через запугивание пытаетесь воспитывать людей. Вредная практика! Та же бабка Грачиха всю жизнь жила в страхе перед господом богом. Но ведь это не помогло ей стать чище, лучше, достойнее других, которые давным-давно отбросили этот страх.

— Парасковья Петровна, поведение старой и, я бы сказал, неумной женщины еще не доказывает, что люди не должны жить без веры. Вы, конечно, не будете закрывать глаза на то, что вера в бога может помочь людям верить в другие полезные дела. Хотя бы, к примеру, во время войны я поддерживал среди своих прихожан веру в победу великого русского воинства. Кстати сказать, это была не только духовная поддержка: мои верующие внесли около двухсот тысяч рублей в фонд обороны. На них, наверно, была отлита не одна пушка.

— Да, верю, польза была. Но сколько вреда тем же людям вы принесли вместе с такой пользой?

— Покорнейше прошу, объясните, что за вред?

— Я учила Варвару Гуляеву, чтоб она умела во все вникать, обо всем самостоятельно мыслить. Я хотела, чтоб она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать.

Мир для нее стал темен и непонятен. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему, — просто божья благодать. С войны в Гумнищинском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всем и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождем не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут еще вы вдальбливаете: терпи, ибо все от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени. Спасибо вам за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинству оценили и вред.

Отец Дмитрий сделал неопределенное движение плечами, словно говоря: «Воля ваша, как хотите думайте...»

— Мы никого, Парасковья Петровна, не тянем к православной вере за уши, — заявил он с достоинством. — Наш долг — лишь не отворачиваться от людей.

— Если бы вы тянули за уши, тогда наш разговор был бы более простой. Вы существуете, этого уже достаточно. Но как бы вы ни притворялись, как бы вы ни успокаивали себя, что ваше добро и ваша вера с нашей сладится, все равно вы знаете: будущее грозит вам тленом и забвением. Не примите это как личную обиду.

Чувственные, полные губы отца Дмитрия скорбно поджались.

— Как знать, как знать, — после недолгого молчания возразил он. — Потянулись же после войны люди к богу. Всякое может случиться впереди.

— Вот вы какие! Называете себя рыцарями добра, а сами тайком ждете больших народных несчастий. Авось они вам помогут. Не так ли?

На этот раз отец Дмитрий ничего не ответил, только покачал сокрушенно головой, отвернулся. Остаток дороги проехали молча.

Парасковья Петровна сошла у райкома партии. Отец Дмитрий натянул снятую при прощании кепку, почтительно проследил взглядом, как Парасковья Петровна, чуть сутуловатая, твердо ступающая своими тяжелыми сапогами, поднялась по крыльцу и скрылась за дверями того учреждения, в которое он никогда не имел ни нужды и ни желания заходить.

В районе кончался весенний сев. Райком партии был пуст, все разбежалось по колхозам. В общем отделе стучали машинистки, за закрытыми дверями в пустых кабинетах яростно надрывались телефоны. В кабинете первого секретаря Ващенко, пользуясь его отсутствием, уборщицы выставляли зимние рамы, мыли стекла.

В скупо освещенном коридоре растерянно слонялись от одной двери к другой два парня в телогрейках. Видно, приехали из какого-то отдаленного колхоза, привезли с собой кучу неотложных вопросов и теперь недоумевали, на голову какого же начальника свалить их. Каждый раз, как Парасковья Петровна проходила мимо, они провожали ее пристальными, вопрошающими взглядами.

Один только заведующий отделом пропаганды и агитации Кучин сидел на своем месте. Парасковья Петровна вошла к нему.

Кучин, держа перед собой какую-то бумажку, побывавшую, видно, не в одном засаленном кармане, кричал в телефонную трубку:

— Горючего нет? Вы мне этим горючим глаза не заливайте! Третьего дня пять центнеров выслано... Ах, застряла! Кто ж в этом виноват: я или господь бог? Почему трактор на вырубку не бросили? Три дня чешетесь! Три дня!..

Парасковья Петровна, опустившаяся на стул, с удовольствием прислушивалась к молодому, упругому голосу Кучина.

Стены кабинета в несвежей штукатурке, скромный портрет Ленина над этажеркой, забитой книгами, стол с треснувшим стеклом и плечистый молодой человек за ним, напористо занимающийся будничными, земными делами,— до последней мелочи все здесь было свое, знакомое, далекое от отца Дмитрия, Грачихи, пьяного Кинди, угрожавшего ей утром.

Кучин бросил трубку, облегченно вздохнул:

— Из-за дорог того и гляди завалим сев. Там горючего нет, тут семенной материал застрял! Здравствуйте, Парасковья Петровна! Какой ветерок к нам прибил?

Парасковья Петровна только собралась объяснить, что за «ветерок» занес ее в этот кабинет, как снова зазвонил телефон, и ей снова пришлось долго ждать, пока Кучин с той же напористостью объяснял кому-то, что райком партии не занимается распределением льносемян, что надо

обращаться к товарищу Долгоаршинному, что он, Кучин, вполне согласен, Долгоаршинный — жук, каких мало, всегда норовит «голый камушек яичком сварить», пора бы, пожалуй, потрясти его на бюро и т. д. и т. п.

Наконец оба, боязливо косясь на телефон, заговорили.

Парасковья Петровна была одним из тех немногих почтенных людей в районе, фамилии которых употребляются не иначе, как с эпитетами «старейший», «заслуженный», тех, чьи фотографии перед каждым праздником украшали райисполкомовскую доску Почета, кого на собраниях обязательно усаживали в президиум. Поэтому Кучин сейчас слушал ее с особым вниманием, с подчеркнутой почтительностью.

Это был плечистый, высокий парень, с буйной шевелюрой, с крепкой красной шеей и открытым лицом, от которого несло простодушным здоровьем. Узкий канцелярский стол был для него тесен, трудно было ему держать в чинной неподвижности свои большие, сильные руки, трудно сидеть не двигаясь, слушать, а не говорить, не доказывать кому бы то ни было правду-матку своим упругим голосом. Его глаза с теплой, какой-то домашней рыжеватинкой выдавали приглушенную энергию, весело стреляли то в Парасковью Петровну, то на разложенные на столе бумаги, то в окно.

Но по мере того как Парасковья Петровна объясняла, простодушное лицо Кучина окрепло, под подбородком у шеи собрались упрямые складки, рыжеватые радужные глаза потемнели.

— Эк! — с досадой крикнул он и так распрямился, что стул заверещал под ним птичьими голосами. — Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, все время съедают горючее для тракторов, овес для лошадей, заботы вплоть до божьего солнышка.

— Для этого время должны найти.

И Кучин задумался, энергично растирая ладонью щеку, морщась от собственных мыслей.

— М-да... Дело не во времени. Когда мы говорим, надо поднять урожайность, плохо ли, хорошо, мы знаем как. Удобрения, своевременные прополки, культивация — словом, есть целая агрономическая наука с точными указаниями, что делать, как поступать. Но вот говорят, разверните антирелигиозную пропаганду. Как ее развернуть?

Начать высылать лектора за лектором, которые бы объясняли, будет ли конец мира. Во-первых, на такие лекции ходят обычно неверующие. Во-вторых, если верующие и придут, то одними лекциями их не вылечишь.

— Так почему же вас не беспокоит такая беспомощность? Вы заведующий отделом пропаганды и агитации, вы партийный просветитель в районе, почему я до сих пор не слышала вашего тревожного голоса? Почему вы занимаетесь горючим, овсом или, как там сказали, заботами о солнышке и забываете позаботиться о самом важном: о сознании людей?

Парасковья Петровна исподлобья глядела на Кучина, а тот, под ее взглядом утративший свою жизнерадостность, как-то сразу заметно отяжелевший, с крепко сжатым ртом, в углах которого появились жесткие складки, слушал, навалившись на край стола широкой грудью.

— Про сознание людей мы не забываем. А если и забудем, то нам напоминают, иной раз довольно чувствительно,— заговорил он.— В Ухтомском районе кучка стариков и старух потянула за собой молодежь на крестный ход в честь какой-то там старо- или новоявленной святой. Кому попало? Виновникам? Нет, они все здравствуют в полном благополучии. Попало секретарю райкома, попало такому, как я, заведующему отделом пропаганды.

— Правильно попало.

— Видимо, правильно, спорить не приходится. Только все же надо помнить, что здесь, в райкоме, сидят обыкновенные люди, а не какие-нибудь чудотворцы. Тысячу лет на Руси людям вдалбливали сказки о божестве. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: ну-ка, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тысячелетняя муть о царствии небесном в два счета выветрилась из голов верующих, чтобы стали они чистыми, как стеклышко!

— А кто от вас требует делать это в два счета? Вы, я помню, на своем месте сидите уже четвертый год, до вас занимал Климов ваш кабинет, до Климова еще кто-то... Разве тогда менее остро стояли эти вопросы? Чем вы можете похвалиться? Чего вы добились?

— Добились многого. В те годы, когда Климов сидел здесь, колхозники получали на трудодень по триста граммов хлеба, теперь те же колхозники получают впятеро больше.

— Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. При чем тут хлеб?

— А при том, что хлеб, овес, горючее — все это своего рода борьба с религией. И вы сами прекрасно понимаете. Старые приемчики борьбы — схватить попа за бороду да вытряхнуть его из храма — давным-давно осуждены как вредные. Теперь мы идем в наступление на религию не лобовой атакой, а медленным, постепенным натиском. Нельзя за год, за два, даже за десятилетия уничтожить то, что вращалось тысячелетиями. Столетнее дерево не спибешь ударом кулака, его нужно подкапывать снизу, с корней.

— Общие фразы.

— Нет, мы теперь меньше всего произносим фраз по поводу религии. Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в щак, добротная одежда к зиме, затем радиоприемник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши доказательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднева! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своем углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателя колхоза Гриднева больше верят, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гридневых у нас в районе не густо. Потом другая сторона. Вы ждете от нас помощи, а мы ее ждем от вас. Таких, как вы, Парасковья Петровна, по нашим деревням и селам разбросаны сотни: учителя, агрономы, врачи. Нас в райкоме единицы, вас армия. Почему бездействуете? Легче всего надеяться, что ветерок из райкома разгонит тучи.

— Кто-то должен поднять эти сотни. Скажите нам — пора! И мы поднимаемся. Может быть, не все сразу, но многие зашевелятся.

— Команды ждете. А эти старухи, наверное, не ждали команды, когда слетались к чудотворной. Надо, чтоб антирелигиозная пропаганда стала неотъемлемой частицей совести каждого мало-мальски культурного человека.

— Приятные речи приятно и слушать, — мрачно согласилась Парасковья Петровна. — Но что делать нам сейчас? Что делать с Родей Гуляевым? Ведь я, его учительница, не могу же успокоиться разговорами о постепенном наступлении на религию?

Кучин сидел, большой, нахохлившийся, глядел на свои крупные руки, выброшенные на стол.

— Тут я вижу только один выход. Надо этого маль-

чика как-то очень осторожно отделить от родителей. На время, пока у тех не пройдет угар. А там мы найдем возможность поговорить и образумить если не старуху, которую, видно, одна могила исправит, то хоть мать. Только как это сделать? В этом вы, Парасковья Петровна, должны нам посоветовать. Вы рядом с ними живете, вы должны знать обстановку.

Парасковья Петровна задумчиво вертела в руках тяжелое пресс-папье, без нужды внимательно его разглядывала, долго не отвечала. Кучин следил за ней со сдержанным беспокойством.

— Я бы могла взять на время мальчика к себе.

— Если это нетрудно...

— Мне-то нетрудно. Только его бабка и его мать поднимут шум, будут устраивать скандал за скандалом, чего доброго, через суд начнут требовать сына.

— Это было бы хорошо! — Кучин с треском заворочался на своем стуле, глаза повеселели, прежняя энергия вернулась к нему. — Пусть бы требовали через суд! Дело получило бы огласку, привлекло бы общее внимание. Разгорелся бы бой в открытую.

— И все-таки успеют на меня вылить не одно ведро грязи.

— Не посмеют. Все эти поклонники господы действуют только исподтишка. Ваш новый знакомый, как его, отец Дмитрий, первый бросится утихомиривать родителей мальчика. Для него любой общественный шум как солнечный свет для крота. Берите к себе вашего ученика, Парасковья Петровна. А мы со своей стороны комсомольские организации на ноги поднимем, нашу районную газету попросим вмешаться...

Парасковья Петровна встала со своего стула:

— Так и сделаю.

Поднялся и Кучин, высокий, под потолок, с выпуклой грудью, туго перетянутый ремнем по суконной рубашке. Его открытое лицо по-мальчишески сияло: пусть частный, пусть временный выход, но все-таки что-то нашли, на что-то решились.

В дверях Парасковья Петровна столкнулась с теми парнями, которые бродили по коридорам. Они скрылись в кабинете, и оттуда послышался напористый голос Кучина:

— Ребята, милые! Я ж вам говорил: не в моих силах достать транспорт! Понимаю, понимаю вас! Ну, хорошо, давайте позвоним Егорову...

В Гумнищи Парасковья Петровна вошла ночью. Устало брела темными улочками к своему дому мимо закрытых калиток, из-за которых на ее шаги сонно лаяли собаки.

Около сельсовета лампочка в жестяном абажуре тускло освещала выщербленный булыжник. Рядом на столбе висел ржавый вагонный буфер. Ночной сторож Степа Казачок обычно отбивал на нем часы. Самого Казачка нигде не видно, спит, верно, дома. Да и то, чего сторожить? Давно уже не слышно, чтобы кто-нибудь покушался на покой гумнищинских обитателей.

Парасковья Петровна снова углубилась в темную улочку.

Неожиданно она услышала быстрые, легкие шажки и прерывистое дыхание — кто-то бежал ей навстречу. Маленький человек чуть не ударился головой ей в живот.

— Кто это? — спросила Парасковья Петровна.

— Это я...

Парасковья Петровна узнала Васю Орехова.

— Ты что в такой поздний час бегаешь?

— Пар... Парасковья Петровна... — задыхался он. — Родь... Родька в реку... бро... бросился!..

— Как бросился?

— Топ... топиться из дому побег!.. Его сейчас Степан... Степан-сторож несет... Это я Степана-то позвал.

— Ну-ка, веди! Да рассказывай толком.

Парасковья Петровна взяла за плечо Ваську, повернула, легонько толкнула вперед. Васька побежал рядом с нею, подпрыгивая, заговорил:

— Он вечером ко мне прибежал...

— Кто он?

— Родька-то... Прибегает и говорит. «Я, Васька, говорит, дома жить не буду. Сбегу!.. Я, говорит, сперва эту икону чудотворную расколочу на мелкие щепочки... Ты, говорит, мамке своей не болтай, а я к тебе ночью приду, на повети в сене спать буду». Я сказал: «Спи, мне не жалко, я тебе половиков притащу, чтоб накрыться...» Холодно же!.. Он ушел. А я сидел, сидел, ждал, ждал, потом дай, думаю, взгляну, что у Родьки дома делается, почему долго его нет. Мамка к Пелагее Фоминишне за закваской ушла, а я к Родькиному дому. Подбежал, слышу, кричат. И громко так, за оградой слышно. Я через огород-то пере-

лез да к окну... Ой, Парасковья Петровна! Родька-то на полу валяется, в крови весь, а она его доской, доской, да не плашмя, а ребром!

— Кто она?

— Да бабка-то... Доской... Родька-то икону расколотил, так от этой иконы половинкой прямо по голове.

— А мать его где была?

— Да мать-то тут стоит. Плачет, щеки царапает... Стоит и плачет, потом как бросится на бабку. И начали они!.. Родькина-то мамка бабку за волосы, а бабка опять доской, доской... Родька тут как вскочит — и в дверь. Я отскочить от окна не успел, гляжу, он уже за огородец перепрыгнул. Я за ним. Сперва тихо кричу — он бежит. Пошумней зову: «Родька, Родька!» Он из села да на луг. Уж очень быстро, не успеваю никак... Потом понял: он ведь к реке бежит, прямо к Паптюхину омуту. Я испугался да обратно. Хотел мамке все рассказать. А мамки дома нету, у Пелагеи сидит... Я на улицу, смотрю, Степан Казачок идет часы отбивать. Я ему сказал, что Родька Гуляев к реке побежал, его бабка поколотила. Дедка-то Степан послушный. «Пойдем, говорит, показывай, куда побежал...»

— Вытащили?

— Да нет... Никого на берегу не видно. Вода-то тихая. Стали кричать, никто не откликается, искали, до Летнего брода дошли, обратно повернули. Ну, нет никого, и все. А ночью под водой разве увидишь...

— И где же нашли?

— Услышали, что-то под берегом поплескивает. Заглянули под обрыв, а там темнеется. Родька-то наполовину из воды вылез и лежит на берегу весь мокрехонек. Прыгнуть-то, видать, прыгнул, а утонуть не смог — выплыл. Оп лучше Пашки Горбунова плавает... Весь мокрехонек, голова ледяная аж... Стали его поднимать, а его вытощило. Степан говорит: «Нахлебался парень...»

— Где же они?

— Степан-то — старик, сил мало. А Родька на ногах не стоит и глаз не открывает...

Они не успели выйти из села, как впереди замаячила темная фигура.

— Дедко Степан! — окликнул негромко Васька.

— Ох, батюшки! Привел-таки... — раздалось впереди старческое кряхтенье.

Парасковья Петровна, опередив Ваську, подбежала к нему:

— Жив?

— Голос недавно подавал, выходит, жив... Ох, тяжелек парень! Ни рукой, ни ногой не шевельнет, виснет, как куль с песком.

В темноте можно было разглядеть свесившуюся голову, бледным пятном — словно все черты стерты — лицо. От его одежды тянуло вызывающим озноб глубинным речным холодком.

— Дай-ка возьму за плечи. — Парасковья Петровна осторожно просунула свои руки под мышки Родьке. — В одной рубашонке выскочил... Несем ко мне! — решительно распорядилась она.

Степан, держа Родькины ноги, двинулся, спотыкаясь и приговаривая:

— Вот они какие, дела-то!.. Беда чистая!..

Парасковья Петровна сорвала со стола клеенку, набросила на кровать, уложила мокрого Родьку.

На плечах сквозь прилипшую к телу рубашку просвечивала кровь, грудь рубашки была запачкана грязью, в слипшихся на лбу волосах песок, все лицо, что лоб, что губы, ровного зеленоватого цвета. Парасковья Петровна протянула руку, чтобы снять грязь со щеки, и тут же быстро отдернула ее — грязный сгусток на щеке оказался спекшейся раной.

— Степан, ты не уходи, поможешь мне раздеть, — принялась командовать Парасковья Петровна. — Вася, беги к Трофиму Алексеевичу. Быстренько, родной, быстренько! — И не удержалась, выругалась негромко: — Животные! Довели мальчишку!

Вместо Трофима Алексеевича, гумнищинского фельдшера, минут через сорок появился с Васькой председатель колхоза Иван Макарович.

— В Загарье наш медик. У них совещание в райздраве. Загостился, — сообщил он громким голосом, но, взглянув на Парасковью Петровну, осекся, спросил тихо и серьезно: — Что тут стряслось? Парнишка, чуть не плача, на меня набросился. Утопился, говорит...

В своем неизменном бушлатике, в мичманке, сбитой на затылок, пахнущий махоркой и ночной свежестью, Иван Макарович, неуклюже ступая на скрипучие половицы, подошел к кровати, сосредоточенно выслушал Парасковью Петровну.

— Ну и ну, выкинули с парнем коленце! То, что карга старая ополоумела, дива нет. Но как эта дуреха Варвара допустила?

— Как допустила? — переспросила Парасковья Пет-

ровна. — Кому это и знать, как не тебе! Не под моим, а под твоим присмотром Варвара живет.

— Я-то при чем тут? У меня и без того дел по горло. Слежу, как службу ломает в колхозе, а чтоб еще от святых угодников оберегать... Нет уж, не по моей специальности.

— То-то и оно. Лишь с одной стороны на человека смотрите, как он службу ломает.

Иван Макарович не ответил, стряхнув задумчивость, неожиданно закипел в бурной деятельности:

— Степан!.. Нет, лучше ты, малый. У тебя ноги молодые. Лети, браток, на конюшню, там Матвей Дерюгин дежурит. Скажи, чтоб Ласточку запрягал. Да сена побольше пусть подкинет, да и не раскачивается пусть и не чешется! Через десять минут чтоб здесь, у крыльца, подвода стояла! Парня в больницу повезем... Стой! По дороге стукни в окно к Верке-продавщице. Пошибче стучи: спать здорова баба. Крикни, пусть сюда поллитрочку принесет. Иван, мол, Макарович велел. Парня надо водкой растереть, чтоб после холоду кровь заиграла.

— Когда же она это успеет, пока в магазин ходит да пока открывает... — посомневался Степан Казачок.

— Эх ты, век прожил, а жизни не знаешь! Такой товар Верка всегда про запас дома держит...

Парасковья Петровна, следившая за председателем, чувствовала, что он сейчас излишне шумлив и напорист, видно, его задело за живое, теперь хоть чем-нибудь да пытается оправдаться.

— Ну, чего уши развесил? — крикнул Иван Макарович на Ваську. — Выполняй приказ! Ноги в руки, полный вперед!

Бросившийся сломя голову к дверям Васька вдруг отскочил назад. Через порог перешагнула Варвара, растрепанная, простоволосая, со страдальческой синевой под глазами. Она остановилась у порога, обвела всех бессмысленным взглядом. Степан Казачок виновато переминался в своем углу. Парасковья Петровна выжидательно уставилась исподлобья, Иван Макарович весь подобрался.

— Родьку моего не видели? — робко выдавила Варвара.

Иван Макарович шагнул на нее:

— Родьку? А на что он тебе? Снова на святых угодников менять?

И тут только взгляд Варвары упал на кровать. На по-

худевшем лице Родьки, на лбу и щеках расцвели вишневые пятна.

Варвара опустила на пол, вцепилась руками в волосы, закачалась телом и сдавленно замычала. И в этом сквозь стиснутые зубы мычания, в искажившемся лице, в прижатых к вискам кулаках, в медленном раскачивании было такое истощенное горе, что Иван Макарович беспомощно оглянулся на Парасковью Петровну.

Варвару, уткнувшую в ладони лицо, усадили на стул. Иван Макарович, повинувшись взгляду Парасковьи Петровны, осторожно ступая по половицам, принес ковш воды. Парасковья Петровна села напротив.

— Выпей и успокойся, — приказала она. — Сына твоего мы сейчас увезем в больницу. Не пугайся — поправится.

Варвара припала распухшими губами к ковшу.

— Но слушай, — продолжала Парасковья Петровна, — я этого оставить так не могу. Пока в твоём доме будет жить твоя мать, я Родиона к вам не пушу. Слышишь, они не должны жить вместе. Если и ты не одумаешься, и тебе не отдам сына. Понимаю, все сложно, все трудно, все тяжело, но сделать пужно. Нельзя калечить жизнь Роди. Будете препятствовать, дойду до суда.

Варвара снова залилась слезами.

В избу сквозь наглухо закрытые окна неприметно влился робкий рассвет. Стала отчетливо видна не только спинка кровати, но и фотографии, веером висящие на выцветших обоях, и щели на потолке.

Варвара после того, как пришла от Парасковьи Петровны, не сомкнула глаз. Она лежала на спине и думала.

Как всегда, ее мысли забегали вперед, в завтрашний день. Как всегда, этот день пугал ее. Раньше, чтоб прожить его покойно, без всяких случайностей, она просила помощи у бога, шептала молитвы: спаси, боже, помоги от напастей. Она верила в эту помощь, в надежде на нее ей становилось легче жить.

Ох, Родька, Родька! А вдруг да не выживет, вдруг да — страшно подумать — умрет в больнице!.. Парасковья Петровна говорит, что не опасно, Иван Макарович лучшую лошадь снарядил, сам поехал, обещал, что с постели по-

дымет самого Трещинова. К доктору Трещипову из соседних районов ездят лечиться... Дай-то бог! Утром до школы опять надо пойти к Парасковье Петровне, пусть посоветует, как жить дальше. Она и сама теперь понимает: Родьке с бабкой не поладить. Крута мать, не забудет икону. Будь трижды проклята эта икона!.. Это сказать легко: Родьку от старухи отделить. Пусть Парасковья Петровна поможет, Ивана Макаровича тоже надо попросить... Сообща-то что-нибудь придумают...

Все сильнее и сильнее сквозь мутные окна сочился рассвет. За стеной над карнизом завозились воробьи. Варвара лежала лицом вверх, остановившимися глазами глядела в потолок. Она сама не замечала, что сейчас, забегая мыслями вперед, в наступающий новый день, искала помощи уже не у бога, а у людей.

На воле из конца в конец по селу прокричали петухи. За дощатой переборкой зашевелилась старуха. Слышно было, как, вздыхая, легонько поохивая, спустилась она с полатей, половицы заскрипели под ее босыми ногами. Вот она стукнулась костлявыми коленями о пол, забормотала... Старая Грачиха начала свой день, как всегда, с молитвы.

Варваре все известно наперед. Если она скажет матери, что будет советоваться, просить помощи у Парасковьи Петровны и у Ивана Макаровича, наверняка старуха начнет поносить их: «Они такие, они сякие... Учительша, мол, жалованье не за то получает, чтобы чужих из беды выручать. Мы для них седьмая вода на киселе, за спасибо-то не больно люди тороваты...» И, уж конечно, один припев: молись! Почему она всю жизнь ее, Варвару, отпугивает от людей? Почему считает, что никому, кроме бога, нельзя доверять? Разве можно жить так дальше? Родька-то не понимал всего; теперь и он учен. Ох, бедная головушка! В такие-то годы да попасть в беду!.. И в какую беду! Она, Варвара, мало ли, много, а уже успела пожить, и то у нее голова кругом пошла от напастей. Не знаешь, чью сторону принять: старухи матери или добрых людей? Нет, трудно с матерью оставаться под одной крышей! А как расстаться? Жили семьей — одни заботы, одно хозяйство...

Старуха, снова поскрипывая половицами, заходила по соседней комнате. Она показалась в дверях — взлохмаченная, в одной ветхой рубаше, с жилистыми темными руками, обнаженными по самые плечи, заметила пошевелившуюся Варвару.

— Не спишь?.. В Загарье я собираюсь,— сообщила она. Варвара не ответила. Старуха скользнула по ней бегающим, виноватым взглядом.

— Ладно, чего там... Авось бог милостив, все обойдется. Я пашему сорванцу-то гостинчиков свезу. Небось и у меня за вчерашнее-то сердце болит.

Варвара с трудом оторвала голову от подушки, тяжело поднялась, села на кровати. Она представила себе, как у койки больного и без того издерганного Родьки появится бабка, одним своим видом уничтожит покой, мало того, начнет свои уговоры: «Бога обидел, неслух... В грех ввел...» Оять бередить душу парню! Хватит!

— Не ездй к нему,— сказала глухо Варвара.

— Чего так — не ездй?

— А так... Не хочу.

— Ужель тебя спрашивать буду? Не чужая ему. Внук он мне, не по задворью знакомы.

— Слушай, мать.— Голос Варвары зазвучал непривычными для нее нотками скрытой озлобленности и решительности.— Давай договоримся подобру-поздорову...

— О чем это нам договариваться-то?

— А о том, как бы жить врозь. Я с Родькой, ты сама по себе.

У старухи гневной обидой заблестели глаза, по углам плотно сжатого рта резче обозначились морщины. Секунду молча она оторопело глядела на дочь.

— Свихнулась, Варька?

— Видать, свихнулась... и давно, коль тебя во всем слушалась!

— Вскормила, вспоила тебя, стара стала — не нужна... Меня же обидели... Да какое там — бога в доме обидели! Волчонк-то до чего додумался — святую икону топором!

— Молчи!

— Так я тебе и замолчала! Как же!.. За то, что за господа заступилась, мне подарочек. Опомнись, греховная твоя душа! Подумай-ка, на какие слова твой язык повернулся! Жить врозь! Да вы с ним подохнете вдвоем! Я на вас, как лошадь, ворочала! Вот она, благодарность-то на старости лет...

— Если по добру все уладим, и ты жить будешь, и мы...

— По добру?! Да где у вас, у нынешних, добро-то? Что душа Кощеева, спрятано оно у вас за тридевятью замками, не доберешься. Старуху мать из дома выгнать на улицу — вот оно, ваше добро! А пет, не выгоните! Дом-

то мой! Я с покойничком отцом твоим, царство ему небесное, строила, каждое бревнышко своим горбом перепробовала.

— Живи в своем доме, я уйду.

— Дождалась я! Господи! За какие прегрешения меня наказываешь? Дочь родная отрекается! Выпестовала иуду на свою голову!..

Старуха перешла на крик.

Крыша дома напротив розово осветилась от разгоравшейся зари. В свежести утра завозились воробьи, их суматошные голоса хлынули разом, как внезапный веселый дождь с крыши.

В доме же Варвары Гуляевой утро начиналось со скандала. И чем сильнее этот скандал разгорался, тем больше крепло решение Варвары: под одной крышей жить нельзя!

Под вечер того же дня Парасковья Петровна, возвращаясь из школы, увидела перед своим домом лошадь с белой проточиной, запряженную в знакомую пролетку. С крыльца навстречу ей поднялся отец Дмитрий.

— Здравствуйте, Парасковья Петровна. Прошу не удивляться, я к вам на минутку по делу. Если вы не против, присядемте прямо здесь.

Оба они опустили на ступеньки крыльца. Отец Дмитрий некоторое время прощупывал учительницу спокойным взглядом выцветших глаз, наконец заговорил:

— Я глубоко удручен тем несчастьем, которое случилось вчера. Поверьте, по-человечески удручен...

— Вы только за этим приехали, чтоб выразить мне свое соболезнование? — спросила Парасковья Петровна.

— Нет. Я слышал, вы собираетесь подавать в суд на старуху, избившую своего внука. Воля ваша, но стоит ли поднимать шум и трескотню? Достаточен ли повод? Старая, выжившая из ума женщина предстанет перед законом за то, что устроила семейный скандал. Да и мальчик, хоть и получил некоторое потрясение, все же теперь находится вне всякой опасности...

— Вы боитесь этого шума?

— Не скрою, он мне большого удовольствия не доставит... Я попытаюсь уладить осложнившиеся дела в доме потерпевшего мальчика. Дочь и мать, как недавно я узнал, не желают жить вместе. Но стоит вопрос: как разой-

тись, куда девать старуху? Я могу забрать ее из Гумниц, устроить при храме уборщицей...

— С одним условием, не так ли?

— Увы, да. Не возбуждать судебного дела.

Отец Дмитрий, склонив на плечо свою крупную голову, вежливо ждал ответа, чистенький, приличный, мягкий, ничем не выдающий ни волнения, ни нетерпения.

— Значит, верно сказал мне вчера один человек, — говорила Парасковья Петровна, — что огласка для вас, как солнечный свет кроту.

— Публичное поношение никому не доставляет удовольствия.

— Нет, отец Дмитрий, людского осуждения бояться только те, у кого нечиста совесть. Разрешите мне действовать по своему усмотрению. Семейные же дела Варвары Гуляевой мы как-нибудь общими усилиями уладим.

Парасковья Петровна поднялась со ступеньки.

1958

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского

в Ленинградском театре имени К. С. Станиславского